

ВИРДЖИНИЯ
ВУЛФ



МИССИС ДЭЛЛОУЭЙ
НА МАЯК



ВСЕМИРНАЯ
ЛИТЕРАТУРА

Всемирная литература (новое оформление)

Вирджиния Вулф

Миссис Дэллоуэй. На маяк

«ЭКСМО»

1925, 1927

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

Вулф В.

Миссис Дэллоуэй. На маяк / В. Вулф — «Эксмо», 1925,
1927 — (Всемирная литература (новое оформление))

ISBN 978-5-04-192047-0

Кларисса Дэллоуэй, светская дама пятидесяти с небольшим лет, готовится к приему, который организует у себя дома. Утром она выходит из дома за цветами, она их очень любит, надо обязательно украсить ими дом к вечеру. Гуляя по Лондону, она вспоминает свою юность, первую любовь. В другом районе Лондона Септимус Уоррен Смит, ветеран Первой мировой войны, страдающий от контузии, идет со своей женой Лукрецией на прием к психиатру. День Смита переплетается с днем Клариссы и ее друзей, их жизни сходятся воедино, когда вечеринка достигает своего апогея. Узнав о трагедии со Смитом, Кларисса переосмысливает свою жизнь и отношение к смерти. Мастерский роман Вирджинии Вулф, в котором прошлое, настоящее и будущее сливаются в один знаменательный день в июне 1923 года. «На маяк» – книга категорически необычная. Два дня, разделенные десятилетним промежутком времени. Изображенные идеи, настроения и духовный опыт. Память, с помощью которой постепенно и незаметно в этот тонкий и изящный роман входит большая жизнь. Таково самое знаменитое произведение Вирджинии Вулф. На его страницах большая семья Рэмзи, проводя лето на острове Скай, мечтает отправиться к маяку, который виден с их берега. Ежедневно миссис Рэмзи сообщает, что отец отвезет их туда на следующий день. Однако поездка все откладывается и откладывается. Описав эту историю, Вулф сумела нарисовать причудливый объемный рисунок человеческих взаимоотношений и рассказать, как и что думают женщины и мужчины, пока их никто не слышит.

УДК 821.111-31

ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-04-192047-0

© Вулф В., 1925, 1927

© Эксмо, 1925, 1927

Содержание

Миссис Дэллоуэй	8
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Вирджиния Вулф

Миссис Дэллоуэй. На маяк

© Д. Целовальникова, перевод на русский язык, 2023

© Издание на русском языке, оформление ООО «Издательство «Эксмо», 2023

* * *

ВИРДЖИНИЯ
ВУЛФ



МИССИС ДЭЛЛОУЭЙ
На маяк



МОСКВА
2023

Миссис Дэллоуэй

Миссис Дэллоуэй сказала, что цветы купит сама.

У Люси и так полно забот: двери с петель снимать, доставку из кондитерской Румпельмайера встречать. И потом, подумала Кларисса Дэллоуэй, утро выдалось дивное – свежее, будто созданное для отдыха на море с детьми.

Наверное, то же самое чувствует жаворонок, взмывая в небо. Какое раздолье! Давным-давно, в Бортоне Кларисса распахивала настежь стеклянные двустворчатые двери и вырывалась на свежий воздух, чувствуя примерно то же, что и сейчас. Ранним утром воздух прохладный, спокойный, гораздо спокойнее, чем в городе, конечно; как плеск воды, как поцелуй волны – студень и резкий, и все же упоительный, особенно для восемнадцатилетней девушки. Кларисса стояла в дверях и ждала: ей казалось, того и гляди произойдет невообразимое. Она смотрела на цветы, на деревья в дымке и на грачей, порхающих в кронах, стояла и смотрела, пока Питер Уолш не спросил: «Предаешься мечтам среди овощей?» Так ли он выразился? «Лично я предпочитаю людей, а не цветную капусту». Так ли?.. А может, это было за завтраком, на террасе? Питер Уолш вроде бы возвращается из Индии – то ли в июне, то ли в июле, точно Кларисса не помнила, потому что письма у него ужасно скучные; вспоминаешь скорее глаза и улыбку, перочинный нож, разные словечки, резкие замечания и – как странно, столько всего кануло в вечность – подобные фразы про капусту.

Кларисса помедлила на обочине, пропуская фургон Дартнолла. До чего очаровательна, подумал Скруп Первис (знакомый с ней, насколько могут быть знакомы соседи, живущие рядом в Вестминстере); похожа на птичку вроде сойки – сине-зеленая, подвижная, жизнерадостная, хотя самой уже за пятьдесят и после болезни изрядно поседела. Смотрит сверху вниз, как всегда, его не замечая, вся подобралась, ждет, когда можно будет перейти дорогу.

Прожив в Вестминстере – сколько уже? более двадцати лет, – Кларисса полагала, что даже посреди уличного движения или ночью в постели поневоле ощущаешь особую торжественность, неописуемое затишье, тревожное ожидание перед тем, как Биг-Бен начинает бить. (Впрочем, виной тому может быть перенесенная инфлюэнца, давшая осложнение на сердце.) Ну вот, гудит! Сначала мелодично предупреждает, потом уверенно отбивает часы. По воздуху расходятся свинцовые круги. Какие мы глупцы, думала она, переходя Виктория-стрит. Лишь небесам ведомо, почему мы ее так любим, что мы в ней находим, выдумывая на ходу, выстраивая вокруг себя, опрокидывая и каждый миг создавая заново; точно так же делают даже самые последние замухрышки, понурые горемыки, что пьянствуют на ступеньках, упиваясь своим падением; с ними не справиться никакими указами парламента именно по этой причине: они любят жизнь. В глазах прохожих, в мерном движении, в топоте ног, в суете; в шуме легковых автомобилей, омнибусов, грузовиков, в шарканье рекламных агентов со щитами на спине и на груди, в реве духовых оркестров, шарманок; в ликовании и звоне, в чужеродном высоком гуле аэроплана над головой было все то, что Кларисса так любила, – жизнь, Лондон, миг июньского утра.

Стояла середина июня. Война закончилась, хотя и не для всех: миссис Фокстрот сокрушалась вчера в посольстве, что тот славный мальчик погиб и старое поместье отойдет к его кузену; и леди Бексборо, говорят, открывала благотворительный базар с телеграммой в руке – Джон, ее любимец, убит; но все кончено, слава небесам, кончено! Наступил июнь. Король с королевой вернулись во дворец. И повсюду, даже в столь ранний час, кипит жизнь, несутся вскачь лошади, стучат биты – вновь открыт крикетный стадион «Лордс», ипподром «Аскот», поло-клуб «Раненлаг» и прочие подобные заведения; серо-голубая утренняя дымка скоро развеется, по лужайкам и центральным площадкам заскачут лошади, едва касаясь передними копытами земли, закружат лихих наездников; смеющиеся девушки в прозрачных муслиновых платьях,

протанцевавшие ночь напролет, выведут на прогулку вздорных мохнатых собачонок; и даже теперь, в этот ранний час, несутся по загадочным делам знатные пожилые леди в своих автомобилях; владельцы магазинчиков суетятся в витринах вокруг стразов и бриллиантов, прельщая американок дивными, цвета морской волны брошами в оправе под старину (нужно экономить, никаких опрометчивых подарков для Элизабет!), и сама Кларисса, питавшая ко всему этому пылкую и нелепую страсть, чувствовала себя частью этой жизни, ведь ее предки были придворными во времена правления Георгов, и сегодня вечером она тоже собирается зажигать и блистать, потому что устраивает прием! До чего странно, войдя в парк, погрузиться в тишину, в дымку, в гул – медленно плавают довольные утки, несуразно переваливаясь, бродят зобастые пеликаны, а кто же шагает ей навстречу, возвышаясь на фоне здания министерства, как ему и подобает, и несет коробку для бумаг с королевским гербом, кто, как не Хью Уитбрэд, старый друг, неподражаемый Хью!

– С добрым утром, Кларисса! – воскликнул Хью с неуместной высокопарностью, ведь они знакомы с детства. – Какими судьбами?

– Обожаю гулять по Лондону, – призналась миссис Дэллоуэй. – Гораздо приятнее, чем за городом.

К сожалению, они приехали показаться докторам. Иные приезжают в Лондон посмотреть картины, послушать оперу, вывезти дочерей в свет, а Уитбрэды тут, чтобы «показаться докторам». Кларисса навещала Эвелин Уитбрэд в лечебнице бесчисленное множество раз. Неужели Эвелин снова больна? Эвелин немного расклеилась, сообщил Хью и доверительно качнулся всем своим мужественным, чрезвычайно красивым, упитанным и элегантно наряженным телом (он всегда одевается хорошо, даже слишком, видимо, непыльная должность при дворе обязывает), (как бы) намекая, что жена испытывает легкое недомогание, ничего серьезного, и Кларисса Дэллоуэй как давняя подруга должна бы догадаться сама, без лишних подробностей с его стороны. Ах да, конечно, какая досада, – откликнулась она, одновременно с сестринской заботой ощутив странную неловкость за свою шляпку. Наверное, не особо подходящий выбор для утренней прогулки. В присутствии Хью, который продолжал говорить, экстравагантно приподнимая шляпу и заверяя Клариссу, что она выглядит лет на восемнадцать, и он, разумеется, придет к ней сегодня, Эвелин настаивает, только немного задержится на приеме во дворце, куда нужно отвести одного из сыновей Джима, – Кларисса всегда терялась, чувствуя себя школьницей, и в то же время была к нему очень привязана, отчасти потому, что знала Хью целую вечность, отчасти потому, что считала его по-своему милым, хотя Ричарда он бесил до невозможности, а что до Питера Уолша, так тот до сих пор не простил ее за то, что Хью ей нравился.

Она вспомнила сцены, которые Питер закатывал ей в Бортоне; Хью, конечно, ему не соперник, однако не такой уж набитый дурак, какимставлял его Питер, и вовсе не напыщенный болван. Когда престарелая мать хотела, чтобы он отказался от охоты или отвез ее на курорт в Бат, он подчинялся без единого слова – эгоистом он не был, а утверждения ее дорогого Питера, что у Хью нет ни сердца, ни мозгов, лишь манеры и воспитание английского джентльмена, выставляют его самого не в лучшем свете; конечно, порой Хью просто невыносим, зато с ним приятно прогуляться погожим летним утром.

(Июньская листва буйно зеленела. В Пимлико матери кормили грудью своих младенцев. В адмиралтейство поступали депеши с флота. Казалось, Арлингтон-стрит и Пикадилли заряжают самый воздух парка упоительной энергией, которую Кларисса так любила, и каждый листок трепещет и поблескивает на его горячих, живительных волнах. Когда-то она обожала и танцевать, и кататься верхом.)

Хотя они с Питером расстались сто лет назад и она никогда ему не писала, а его письма были сухими, как пожухлая листва, порой Кларисса задумывалась: что сказал бы Питер, будь он рядом? Временами он всплывал в ее памяти – спокойно, без прежней горечи – пожалуй,

такова награда за былую привязанность; вот и сейчас, прекрасным летним утром, они нахлынули посреди парка Сент-Джеймс. Впрочем, каким бы чудесным ни был день, и деревья, и трава, и маленькая девочка в розовом, Питер ничего этого не замечал. Если бы Кларисса ему сказала, он надел бы очки и посмотрел. Его интересовало положение дел в мире, музыка Вагнера, поэзия Поупа, человеческая натура в общем и недостатки души Клариссы в частности. Как он ее честил! Как яростно они спорили! Ей впору выйти замуж за премьер-министра и встречать гостей, стоя наверху лестницы, – образцовая хозяйка, вот как Питер ее обозвал (после этого Кларисса плакала у себя в спальне), у нее есть все задатки образцовой хозяйки.

И вот она идет по Сент-Джеймскому парку, продолжая тот самый спор и доказывая себе, что правильно – конечно, правильно! – не вышла замуж за Питера. Ведь между людьми, живущими в браке день за днем, в одном доме должно быть хоть немного свободы, хоть немного независимости, которую дает ей Ричард, а она – ему. (К примеру, куда он отправился сегодня утром? В какой-то комитет, в подробности она никогда не вникала.) С Питером же приходилось делиться абсолютно всем, он вникал во все. И это было настолько невыносимо, что во время сцены у фонтана Клариссе пришлось с ним порвать, иначе они погибли бы оба, она уверена, уничтожили бы друг друга. Впрочем, эту острую стрелу в сердце она носила еще много лет, сама не своя от тоски и горя, а потом ужаснулась, когда на каком-то концерте узнала, что Питер женился на женщине, которую встретил во время плавания в Индию. Такого забывать нельзя! Он назвал ее холодной, бессердечной недотрогой. И никогда-то она не понимала его чувств! Зато их отлично поняли те простушки на пароходе – пустоголовые смазливые дурынды. И незачем его жалеть! Он вполне счастлив, заверил Питер, абсолютно счастлив, хотя и не добился ничего, о чем они столько говорили в юности, – жизнь совершенно не удалась. Злости на него не хватает!

Она дошла до ворот парка и немного постояла, разглядывая омнибусы на Пикадилли.

Теперь она ни о ком не судила бы, что он такой или эдакий. Кларисса чувствовала себя совсем юной и в то же время чудовищно старой. Она вонзалась в городскую суету, словно нож, и в то же время взидала на происходящее как бы со стороны. Наблюдая за лондонскими такси, она ощущала себя выпавшей из жизни и такой одинокой, словно находится в открытом море; ей всегда казалось, что прожить хотя бы день – очень, очень рискованно. Она не особо умна, в ней нет ничего выдающегося. И как только ей удалось пройти по жизни с теми крупными знаниями, которыми снабдила своих учениц фрейлен Дэниелс? Кларисса не знает ни иностранных языков, ни истории, редко берет в руки книгу, разве что мемуары перед сном, тем не менее вся эта круговерть ее совершенно поглощает; она больше не скажет ни про Питера, ни про себя, что он – такой, а она – эдакая.

Единственный ее талант – распознавать окружающих почти интуитивно, на ходу размышляла Кларисса. Очутившись в одной комнате с посторонним, она, подобно кошке, выгнет спину или замурлычет. Девоншир-хаус, особняк графа Девонширского, Бат-хаус, резиденция барона Эшбертона, особняк с фарфоровым какаду в окне – когда-то в них горел яркий свет, и она вспомнила Сильвию, Фреда, Сэлли Сетон – такая уйма народу! – и танцы до утра, и еду-щие спозаранку на рынок груженные фургоны, и возвращение домой через Гайд-парк. Кларисса вспомнила, как однажды бросила шиллинг в озеро Серпентин, но к чему вспоминать – это может делать кто угодно! Она любила то, что видела здесь и сейчас, даже тучную леди в наемном экипаже. Разве имеет значение, думала Кларисса, направляясь к Бонд-стрит, разве имеет значение, что придется исчезнуть без следа, что все это уцелеет, а ее не станет? Возмущает ее или утешает, что со смертью все закончится? На лондонских улицах все меняется, все течет, и в том или ином виде она продолжит свое существование, и Питер тоже, ведь они живут друг в друге, и отчасти в деревьях возле старого, осыпающегося родительского дома; отчасти в людях, которых даже не знают; выются дымкой вокруг тех, кого прекрасно знают, и те вздымают их своими ветвями все выше и выше, словно деревья туман, разгоняя все дальше

и дальше, как растекается и ее жизнь, и она сама... О чем же она замечталась, глядя в витрину книжного «Хэтчердс»? Что пытается вспомнить? Что за образ холодного рассвета в сельской глуши видит Кларисса, читая в открытой книге:

*Не страшишься ни палящего зноя,
Ни яростной зимней стужи¹...*

Недавняя эпоха мировых потрясений открыла в них всех, и в мужчинах, и в женщинах, неиссякаемый источник слез и горя, мужества и выдержки, твердости духа и стойкости. Взять, к примеру, женщину, которой Кларисса особенно восхищается, – леди Бексборо.

В витрине лежат «Прогулки и забавы Джоррока», «Похождения мистера Губки» Р. С. Сертиса, «Мемуары» миссис Асквит и «Охота на крупную дичь в Нигерии» – все раскрытые. Так много книг, и ни одна не годится вполне, чтобы захватить в лечебницу для Эвелин Уитбред. Ничего, что могло бы развлечь эту маленькую увядшую женщину, заставить ее глаза радостно вспыхнуть при виде Клариссы, пока они не завели бесконечный разговор о женских недомоганиях. Чудесно ведь, подумала Кларисса, что люди радуются, когда тыходишь в комнату, свернула за угол и зашагала обратно к Бонд-стрит, досадуя, что некоторые вечно все усложняют. Хорошо живет Ричарду, который всегда поступает по своему усмотрению, в то время как ей, думала Кларисса, стоя на переходе, в доброй половине случаев приходится действовать с оглядкой, надеясь на ту или иную реакцию окружающих – полный идиотизм, она и сама сознает (наконец полицейский поднял руку), ведь никого-то этим ни на миг не проведешь. Вот бы начать жизнь заново, подумала она, ступая на тротуар, вот бы даже выглядеть иначе!

Клариссе ужасно хотелось быть темноволосой, как леди Бексборо, с тонкой, мягкой кожей и красивыми глазами. Она стала бы медленной и величавой, разбиралась бы в политике как мужчина, жила бы в загородном доме, донельзя почтенная и прямодушная. Вместо этого Клариссе досталась узкая, как стручок, фигурка и нелепая мордашка с носом, напоминающим птичий клюв. Правда, держаться она умела, руки и ноги у нее были изящные, одевалась она со вкусом, хотя и недорого. Но часто собственное тело (она остановилась поглядеть на голландскую картину), при всех его достоинствах, казалось ей ничем – буквально ничем! Порой у Клариссы возникало странное чувство, что ее никто не видит, никто не замечает, никто не знает; что в жизни больше нет места ни замужеству, ни детям, лишь этому мрачному шествию вместе со всеми – по Бонд-стрит шагает некая миссис Дэллоуэй, даже не Кларисса, просто миссис Ричард Дэллоуэй.

Бонд-стрит ее завораживала, особенно ранним утром – реющие на ветру флаги, магазины обставлены скромно, но со вкусом – рулон твида в витрине ателье, где отец заказывал костюмы пятьдесят лет кряду; пара ниток жемчуга, лосось на льду.

– Вот и все, – проговорила она, глядя на витрину торговца рыбой. – Вот и все, – повторила она, помедлив у магазина, где до войны продавались прекрасные перчатки. Дядюшка Уильям любил повторять, что леди можно узнать по туфлям и перчаткам. Однажды утром, в разгар войны, он отвернулся к стене и сказал: «С меня хватит!» Перчатки и туфли – Кларисса их обожала, а ее собственная дочь Элизабет подобные мелочи ни в грош не ставит.

Ни в грош, подумала она, идя по Бонд-стрит к магазинчику, где покупала цветы для своих приемов. Гораздо больше Элизабет заботит ее собака. Весь дом дегтем пропах. Хотя уж лучше бедняга Гризли, чем мисс Килман! Лучше терпеть собачью чумку и деготь, чем сидеть с молитвенником в душной спальне, как в клетке! Все лучше, чем это, думала Кларисса, однако Ричард считает, что подобную фазу переживают все девочки. Может, просто влюбилась.

¹ У. Шекспир. «Цимбелин». Акт IV, сцена 2.

Но почему именно в мисс Килман?! Разумеется, бедняжке пришлось несладко, и Ричард говорит, что та очень способная – с ее складом ума впору быть историком. В любом случае теперь они неразлучны, и Элизабет, ее собственная дочь, ходит к причастию; а как стала одеваться, как небрежно обращается с гостями Клариссы; похоже, религиозный экстаз делает людей бестактными, притупляет чувства: ради русских мисс Килман пойдет на все, ради австрийцев готова уморить себя голодом, но терпеть ее в домашней обстановке – настоящая пытка, что за невыносимая особа в своем вечном макинтоше! Носит его год за годом, потеет; уже после пяти минут рядом ощущаешь ее превосходство и собственную неполноценность, ведь она бедная, а ты богатая; она живет в трущобах и спит чуть ли не на голом полу, вся душа проржавела от давних обид – в годы войны ей пришлось бросить школу – что за несчастное, озлобленное создание! Кларисса ненавидела вовсе не ее, а то, что она воплощала, вобрав в себя многое, чего не было в самой мисс Килман; некий фантом, с которым сражаешься в ночных кошмарах; подобные ей агрессоры и мучители стоят над тобой и высасывают жизненные соки. Несомненно, при ином раскладе Кларисса, может, и полюбила бы ее, только не в этой жизни!

Клариссу раздражало, что в лесной чаще ее души ворочается свирепое чудовище – ломает ветки, взрывает копытами палую листву; она больше не знала ни радости, ни покоя, потому что в любой миг могла пробудиться эта тварь – ненависть, которая за время болезни набралась сил и терзала ее, отдавалась болью в позвоночнике, доставляла буквально физические страдания и мешала наслаждаться красотой, дружбой, хорошим самочувствием, любовью и домашним уютом, заставляя благоденствие Клариссы шататься, дрожать и крениться, словно корни подрыывает чудовище, словно его пышная крона – не более чем бахвальство. Ох уж эта ненависть!

«Вздор, вздор!» – вскричала она про себя, толкая двойные двери в цветочный магазин «Малберриз».

Кларисса вошла – высокая, худая, с очень прямой спиной, и к ней тут же радостно подлетела мисс Пим – женщина с плоским невыразительным лицом и ярко-красными руками, словно вечно держит их в холодной воде вместе с цветами.

Дельфиниум, душистый горошек, охажки сирени и гвоздики – уйма гвоздик. И розы, и ирисы. Кларисса вдыхала дивный аромат влажного сада, разговаривая с мисс Пим, которая многим ей обязана и считает ее доброй, очень доброй; такой Кларисса была и раньше, но в этом году постарела... Она переводила взгляд с ирисов на розы, кивала гроздям сирени; опустила веки, наслаждаясь восхитительным запахом и прелестной прохладой после шумной улицы. А потом, открыв глаза, поразились, как свежи розы – словно белье с оборками, доставленное из прачечной в неглубоких корзинках из ивовых прутьев; темно-красные гвоздики держатся чопорно, гордо задрав головки; душистый горошек раскинулся в вазах, расправив фиолетовые, белоснежные и бледные цветки – словно наступил вечер, и девушки в кисейных платьях вышли нарвать душистого горошка и роз в конце великолепного летнего дня с его чернильно-синим небом, дельфиниумами, гвоздиками, каллами; и время уже между шестью и семью часами, когда каждый цветок – розы, гвоздики, ирисы, сирень – буквально светится белым, фиолетовым, красным, ярко-оранжевым; каждый цветок на влажных клумбах словно горит изнутри – мягким, чистым светом... О, как Кларисса любила светло-серых мотыльков, кружащих над гелиотропами, над вечерними примулами!

Переходя с мисс Пим от вазона к вазону и выбирая, Кларисса твердила «Вздор, вздор!» уже мягче, словно вся эта красота, запах, цвет, привязанность и доверие мисс Пим – волна, которая ее захлестнула и смела всю ненависть, смела напрочь, приподняла и... И вдруг снаружи раздался выстрел!

– Будь неладны эти авто! – в сердцах воскликнула мисс Пим, выглянула в окно и вернулась с охажкой душистого горошка, смущенно улыбаясь, словно автомобили, издающие резкие звуки, – ее вина.

Виновником оглушительного взрыва, заставившего миссис Дэллоуэй подпрыгнуть, а мисс Пим выглядывать в окно и извиняться, был автомобиль, свернувший к тротуару в аккурат возле витрины «Малберриз». Прохожие, конечно, остановились и принялись глазеть, но успели заметить лишь чрезвычайно важную физиономию на фоне серо-голубой обивки и мужскую руку, задернувшую штормку, – больше смотреть было не на что.

И все же с середины Бонд-стрит мигом понеслись слухи – до Оксфорд-стрит в одну сторону, до парфюмерной лавки Аткинсона в другую – невидимые, невнятные, словно стремительное и легкое облако обволокло окрестные холмы, опустилось внезапным спокойствием и безмолвием на лица, за миг до того совершенно суматошные. Теперь их коснулась своим крылом тайна, они слышали голос власти, повеяло монаршим духом. Впрочем, никто не знал, чье лицо промелькнуло – то ли принца Уэльского, то ли королевы, то ли премьер-министра. Кто это был? Никто не знал.

Эдгар Дж. Уоткисс со свернутой в кольцо свинцовой трубой на руке довольно громко заметил, разумеется, в шутку:

– Авто небось премьерское!

Его услышал Септимус Уоррен Смит, которому Уоткисс загородил дорогу.

Септимусу Уоррену Смигу было под тридцать, лицо бледное, нос похож на птичий клюв, одет в коричневые ботинки и потрепанный плащ, в карих глазах – тревога, от которой даже незнакомые люди тревожатся в ответ. Мир уже занес свою плеть – куда она опустится?

Улица замерла. Двигатели стучали, словно неровный пульс, сотрясающий все тело. Автомобиль стоял ровно напротив витрины «Малберриз», солнце палило всюду, старушки наверху омнибусов укрылись за черными зонтиками; с легким щелчком раскрывался то зеленый, то красный зонт. Миссис Дэллоуэй с охапкой душистого горошка прильнула к стеклу, недоуменно поджав розовое личико. Все смотрели на автомобиль. Септимус тоже смотрел. Мальчишки соскочили с велосипедов. На дороге образовался затор. А посреди всего этого – автомобиль с задернутыми шторками, на которых виднелся любопытный рисунок, похожий на дерево, подумал Септимус, и постепенное сведение всех предметов воедино наполнило его ужасом, словно на поверхность поднималось нечто жуткое. Мир задрожал, искривился, готовясь полыхнуть огнем. «Я всем загораживаю дорогу», – сообразил Септимус. Не на него все смотрят и тычут пальцем; не его ли умышленно остановили, приковали к тротуару с непонятной целью? Но зачем?

– Пошли, Септимус, – поторопила жена, миниатюрная итальянка с большими глазами на желтоватом заостренном личике.

Впрочем, Лукреция тоже не могла оторваться от автомобиля с деревьями на шторках. Вдруг там сама королева – королева выехала за покупками?

Шофер открыл капот, что-то повернул, захлопнул крышку и снова сел за руль.

– Пошли, – повторила Лукреция.

Муж, с которым она прожила уже четыре, нет, пять лет, подскочил, вздрогнул и воскликнул: «Иду!», словно она оторвала его от чего-то важного.

Люди обязательно заметят, люди обязательно увидят. Люди, думала она, глядя на толпу, глазающую на автомобиль, эти английские люди со своими детьми, лошадьми и нарядами, которыми Лукреция отчасти восхищалась. Сейчас это были просто «люди», потому что Септимус сказал: «Я себя убью» – разве не ужасно говорить такое? А вдруг услышат? Она оглядела толпу. «Помогите, помогите! – хотелось ей крикнуть мальчишкам в мясной лавке и женщинам. – Помогите!» Еще осенью они с мужем стояли на набережной, завернувшись в один плащ на двоих; Септимус читал газету, Лукреция выхватила ее и рассмеялась в лицо старику, уставившемуся на них! Увы, несчастье приходится скрывать. Нужно увести его в какой-нибудь парк.

– Давай перейдем, – предложила она.

Право на безвольную руку Септимуса у нее осталось, хотя Лукреция подобного явно не заслуживала: юная, всего двадцать четыре года, наивная и порывистая – в Англии совсем одна, уехала из Италии только ради него.

Автомобиль с задернутыми шторками направился к Пикадилли с видом непроницаемой сдержанности, сопровождаемый любопытными взглядами с обеих сторон улицы и все тем же дуновением глубокого почтения то ли к королеве, то ли к принцу, то ли к премьер-министру – наверняка не знал никто. Лицо загадочной особы узрело от силы человека три, да и то лишь на пару секунд. Неизвестно даже, мужчина то или женщина. Однако ни малейшего сомнения в величии пассажира не возникло – по Бонд-стрит проехал небожитель, причем буквально на расстоянии вытянутой руки от простых смертных, впервые в жизни очутившихся в пределах слышимости от его королевского величества, долговечного символа государства, которое будет известно пытливым любителям древностей, скрупулезно просеивающим руины былых веков, когда Лондон зарастет травой и все прохожие, спешащие по тротуару этим июньским утром, превратятся в груды костей с примесью редких обручальных колец и бесчисленных золотых коронок с прогнивших зубов. Даже тогда лицо в автомобиле не изгладится из памяти человечества.

Наверное, королева, подумала миссис Дэллоуэй, выходя с цветами из «Малберриз», королева. И приняла исполненный чрезвычайного достоинства вид, глядя на проезжающий автомобиль с задернутыми шторками. Королева едет в больницу, королева открывает благотворительный базар, думала Кларисса, стоя в солнечных лучах у цветочного магазина.

Для раннего тура толчея стояла страшная. «Лордс», «Аскот», «Херлингэм»? – гадала она, потому что улица встала. В подобный день британцы среднего класса, сидящие наверху омнибусов со свертками и зонтиками, некоторые даже в мехах, выглядят невообразимо нелепо, и сама королева застряла, королева не может проехать. Клариссе пришлось остановиться на одной стороне Брук-стрит, старому судье сэру Джону Бакхерсту – на другой, а между ними застыл автомобиль (сэр Джон много лет представлял закон и любил хорошо одетых женщин), и тут шофер, слегка склонившись, что-то проговорил, что-то показал полицейскому, и тот отдал честь, поднял руку, мотнул головой в сторону обочины, убирая омнибус с пути и давая автомобилю проехать, медленно и в полной тишине.

Кларисса догадалась, конечно, Кларисса все поняла: она заметила в руке шофера белый круглый диск, на котором написано имя (королевы, принца Уэльского, премьер-министра?), силой собственного блеска прожигающее себе путь (автомобиль уменьшался в размерах, исчезал у Клариссы на глазах), чтобы вечером сиять в Букингемском дворце среди канделябров, орденов, медалей, Хью Уитбрета и всех его сослуживцев, знатных англичан. Сегодня Кларисса тоже устраивает прием. Она слегка подобралась; значит, стоять ей наверху лестницы и встречать гостей.

Автомобиль уехал, оставив на Бонд-стрит легкую рябь, которая всколыхнула магазины перчаток и шляп, ателье по пошиву одежды. Все головы повернулись в сторону окна. Леди, выбиравшие перчатки – до локтя или выше, лимонные или серые? – замерли на середине фразы: что-то произошло. Причем настолько мизерное, что ни один прибор, способный уловить подземные толчки в далеком Китае, не смог бы зафиксировать колебание; при этом довольно внушительное по своей полноте и апеллирующее к лучшим чувствам, поскольку во всех шляпных магазинчиках и ателье незнакомые друг с другом люди обменялись взглядами и вспомнили о павших, о флаге, об Империи. В пивной на глухой улочке уроженец Колонии помянул Виндзоров недобрым словом, что вылилось в перепалку, битие стаканов и всеобщую потасовку, резанувшую тонкий слух девушек, покупавших к свадьбе белоснежное белье с белыми же лентами. Поверхностный ажиотаж, вызванный автомобилем, не исчез без следа – он задел некие глубинные струны.

Проехав по Пикадилли, автомобиль повернул на Сент-Джеймс-стрит. Высокие, крепкого телосложения мужчины во фраках, белых галстуках, с зачесанными волосами, которые по непонятной причине стояли в эркере «Брукса», заложив руки за фалды, и глазели, инстинктивно поняли, что мимо проезжает особа величественная, и на них упал бледный отсвет бессмертия, как чуть раньше на Клариссу Дэллоуэй. Они вмиг подтянулись, убрали руки и выразили готовность последовать за своим сюзереном, если потребуется, в огонь и в воду, как некогда их предки. Белые бюсты и столики в глубине, номера «Тэтлера» и сифоны с содовой их вроде бы одобряли, навевая мысли о тучных нивах и английских поместьях, и отражали тихий гул мотора, как стены шепчущей галереи возвращают возглас, усиленный мощью собора. Закутанная в шаль Молл Прэт, торгующая цветами на улице, пожелала милому мальчику всего наилучшего (наверняка сам принц Уэльский!) и собралась швырнуть ему вслед букет роз – почитай, стоивший целую уйму пива – прямо на тротуар Джеймс-стрит из чистой прихоти и презрения к нищете, но поймала взгляд констебля, начисто отбивший у старой ирландки желание выражать народное ликование. Часовые у Сент-Джеймса отдали честь, полицейский у мемориала королевы Александры последовал их примеру.

Тем временем у ворот Букингемского дворца выросла небольшая толпа. Собрались в основном бедняки – они ждали апатично, но уверенно, глаза на реюющий флаг, на памятник королеве Виктории на высоком пьедестале, восхищались резными уступами, геранями, всматривались то в один, то в другой автомобиль, катящийся по церемониальной аллее Мэлл, напрасно умилялись при виде простолудинов, отправившихся прокатиться, и сдерживали чувства, сохраняя их для объекта более достойного; и кровь их бурлила от слухов, чресла трепетали при мысли о том, что их удостоит взглядом монаршая особа, – королева кивнет, принц козырнет; при мысли о божественной сущности власти, о шталмейстере и глубоких реверансах, о кукольном домике королевы, о принцессе Мэри, вышедшей замуж за англичанина, о принце – ах, принц! – который удивительно похож на старого короля Эдварда, только куда стройнее. Хотя принц живет в Сент-Джеймсе, он вполне может навестить с утра свою матушку.

Так сказала Сара Блетчли, покачивая ребенка и упираясь ногой в ограду, словно в свою каминную решетку в Пимлико, и не сводя глаз с аллеи Мэлл, а Эмили Коутс окинула взглядом дворцовые окна и замечталась о горничных, бесчисленных горничных, о спальнях, бесчисленных спальнях. Тем временем толпа росла – подошел пожилой джентльмен со скотчтерьером, потом какие-то праздные зеваки. Маленький мистер Боули, квартировавший в «Олбани», давно замкнулся в своей скорлупе, отгородившись от глубинных жизненных источников, и все же порой его охватывали совершенно неуместные сентиментальные порывы – бедные женщины, надеются увидеть, как мимо пройдет королева – бедные женщины, милые детки, сироты, вдовы, война – ай-ай-ай, – и на глаза его наворачивались слезы. Теплый ветерок, гулявший по церемониальной аллее меж тонких молодых деревьев, меж бронзовых героев, всколыхнул гордость за державу в британской груди мистера Боули, и при виде автомобиля, свернувшего на Мэлл, он приветственно поднял шляпу и стоял очень прямо в толпе бедных матерей из Пимлико. Автомобиль приближался.

Внезапно миссис Коутс посмотрела в небо. В уши зловеще вонзился шум аэроплана. Вот он летит над деревьями, выпуская белый дым, тот перекручивается и складывается в буквы! Да он же пишет на небе! Все задрали головы.

Резко снизившись, аэроплан взмыл вверх, заложил петлю, разогнался, нырнул, поднялся – и куда бы он ни летел, следом струился густой белый дым, который закручивался и сплетался в буквы прямо в небе. Что же это за буквы? Вроде бы Г или Т, потом Р или О... На миг они застывали неподвижно, затем смещались и таяли в небе, аэроплан двигался дальше, петлял снова и снова, выводя на чистом участке Т, Р и О.

– «Граксо», – заявила миссис Коутс напряженным, благоговейным голосом, глядя прямо в небо, и младенец у нее на руках, застывший и бледный, тоже смотрел вверх.

– «Тремо», – пробормотала миссис Блетчли словно сомнамбула. Держа шляпу в вытянутой руке, мистер Боули не отрываясь смотрел вверх. По всей аллее Мэлл люди стояли и молча главели в небо. Одна за другой пролетели две чайки, и в этой необычайной тишине и покое, в чистоте и неподвижности часы на башне пробили одиннадцать раз, и звук затих в вышине, среди чаек.

Аэроплан развернулся, набрал скорость и спикировал легко, свободно, словно конькобежец...

– Похоже на Ф, – заметила миссис Блетчли.

...или словно танцор.

– Тоффи, – пробормотал мистер Боули.

И тут в дворцовые ворота въехал никем не замеченный автомобиль, а аэроплан перекрыл дымную струю и понесся прочь, оставив за собой тающие обрывки букв.

Он исчез, скрылся. Шум стих. Облака, к которым прибило буквы Т, С или О, плыли по небу, словно их отправили с запада на восток с тайной миссией чрезвычайной важности, о коей никто никогда не узнает, но важность ее очевидна. И вдруг, как поезд из тоннеля, аэроплан вырвался из облаков, пронзая слух собравшихся на аллее Мэлл, в Грин-парке, на Пикадилли, на Риджент-стрит, в Риджентс-парке, и за ним вилась струя дыма, выписывая букву за буквой – но что же он писал?

Лукреция Уоррен Смит, сидевшая на скамейке рядом с мужем на главной аллее Риджентс-парка, посмотрела в небо.

– Гляди, Септимус! – вскричала она, поскольку доктор Холмс велел заставлять мужа (ничего с ним серьезного нет, просто хандрит) интересоваться окружающим миром.

Ну вот, подумал Септимус, поднимая взгляд, мне подают сигналы. Слов он разобрать пока не мог, но все и так ясно – красота, изумительная красота, и глаза его наполнились слезами; он смотрел на тающие в небе дымные слова, сочащиеся неиссякаемой благодатью и весельем, принимающие невообразимо прекрасные формы и обещающие снабдить его даром и навсегда, просто за то, что смотрит в небо, красотой, еще большей красотой! По щекам Септимуса побежали слезы.

Тоффи, это рекламируют тоффи, сказала нянька Лукреции. Вместе они начали называть буквы – Т, О, Ф...

– Т, Р-р... – произнесла нянька, и глубокий, мягкий голос, словно звучный орган с хрипылыми, шершавыми нотками, напоминающими стрекот кузнечика, прозвучал у самого уха Септимуса, прошуршал по позвоночнику восхитительным трепетом, отозвался в мозгу волнами звука, слегка его оглушив. До чего удивителен человеческий голос – при определенных атмосферных условиях (научная точность превыше всего) способен пробуждать к жизни деревья! К счастью, Лукреция положила руку ему на колено, буквально придавив, пригвоздив к месту, иначе восторг при виде колышущихся на ветру вязов, расцвеченной солнцем листвы, переливающейся от синего к зеленому, словно полая волна, словно плюмажи на лошадиных головах, словно перья на шляпках леди – так гордо, так великолепно – свел бы его с ума. Нет уж, с ума он не сойдет. Септимус зажмурится, чтобы не смотреть.

Листва манила – она была живая. Листья, соединенные мириадами волокон с телом Септимуса, сидящим на скамейке, вздымали его вверх-вниз; когда ветка вытягивалась, рука тоже тянулась следом. Порхавшие в неровных струях фонтана воробьи были частью общего узора – бело-синего, окаймленного черными ветвями. Звуки сливались в замысел, промежутки между ними представлялись не менее важными, чем сами звуки. Заплакал ребенок. Взревел клаксон. Все вместе означало рождение новой религии...

– Септимус! – окликнула Лукреция. Он испуганно вздрогнул. Люди все замечают. – Я прогуляюсь до фонтана и обратно.

Ей этого не вынести! Доктор Холмс считает, что ничего страшного не происходит. Лучше бы Септимус умер! Невыносимо сидеть рядом, когда он смотрит в никуда, не замечает ее и все портит – небо и дерево, детишки играют, тянут тележки, дудят в свистки, падают – все просто ужасно! Он не убьет себя, и она не признается никому. «Септимус слишком много работает» – вот и все, что она говорит матери. Любовь делает тебя одиноким, подумала Лукреция. Она не могла признаться никому, даже Септимусу, который сидел на скамье в потрепанном плаще, сторбившись и глядя в никуда. Конечно, заявлять о том, что наложишь на себя руки, – трусость, однако Септимус сражался, был храбрецом... Не то что теперь. Она надела кружевной воротничок и новую шляпку, а он даже не заметил! И вполне счастлив без нее. Разве она сможет быть счастлива без него? Нет! Эгоист, как и все мужчины. Ведь у него ничего не болит! Доктор Холмс сказал, что муж вполне здоров. Лукреция растопырила пальцы. Ну вот, обручальное кольцо болтается – руки похудели. Она страдает, и поделиться не с кем.

Италия далеко, как и белые домики и комната, где она с сестрами мастерила шляпы; по вечерам на улицах людно – все гуляют, громко смеются, не то что эти полуживые англичане, скрючившиеся в инвалидных колясках и глядящие на уродливые цветы, понатыканные в горшки!

– Видели бы вы, какие сады в Милане! – воскликнула она, обращаясь неизвестно к кому.

Вокруг не было никого. Слова Лукреции погасли, как шутиха. Искры, прожегшие ночь, покоряются ей, темнота снисходит, обхватывает контуры домов и башен; мрачные склоны гор смягчаются и тонут во тьме. Хотя они сгнули, ночь ими полна – лишившись цвета, утратив окна, они становятся более громоздкими, выдают то, что откровенный дневной свет передать не способен – скорбь и тревогу вещей, сгрудившихся в темноте, жаждущих облегчения, которое приносит рассвет, омывая стены белым и серым, обозначая стекла и рамы, поднимая дымку с полей, освещая мирно пасущихся рыже-коричневых коров, возвращая взору этот мир еще раз. «Я – одна, я – одна!» – вскричала Лукреция у фонтана в Риджентс-парке (установившись на индийца и его крест), как в полночь, когда теряются все очертания и страна принимает свой древний облик – такой ее увидели римляне, высадившиеся на туманные берега, и у гор еще не было имен, а реки текли неизвестно куда – такая тьма царила в ее душе, и вдруг словно из ниоткуда возник уступ, на который Лукреция шагнула и сказала себе, что Септимус ее муж, что она вышла за него в Милане много лет назад и никогда, никогда и никому не расскажет, что он сошел с ума! Внезапно уступ обвалился, и она полетела вниз, вниз. Ей показалось, что Септимус ушел, ведь он грозился убить себя – броситься под колеса экипажа! Но нет, сидит на скамейке в своем потрепанном плаще, скрестив ноги, смотрит в никуда, разговаривает сам с собой.

Рубить деревья нельзя. Бог есть. (Подобные откровения он записывал на обратной стороне конвертов.) Измени мир. Никто не убивает из ненависти. Да будет им известно... Он ждал. Слушал. На ограду уселся воробей, чирикнул раза четыре или пять «Септимус, Септимус» и разразился пронзительной, бодрой трелью на греческом о том, что преступления не существует, затем к нему присоединилась еще одна птица, и оба запели по-гречески протяжными, резкими голосами о деревьях на лугу, жизни за рекой, где бродят мертвые, и что смерти нет.

Мертвецы рядом, буквально рукой подать. За оградой собирались бледные существа, но он не решался взглянуть. За оградой стоял Эванс!

– Что ты говоришь? – внезапно спросила Реция, садясь рядом.

Снова она! Вечно мешает.

Прочь от людей – скорее прочь, сказал он себе, вскакивая, скорее туда, где скамейки под деревом и парк тянется зеленой лентой под голубым пологом неба и розовым дымом в вышине, вдалеке тает в чаду неровный вал домов, гудят огибающие парк машины, и справа над оградой зоопарка палевые звери вытягивают длинные шеи, лают, воют...

Септимус с женой присели под деревом.

– Взгляни, – умоляла Реция, указывая на ватагу мальчишек с крикетными битами, один из которых приплясывал и крутился на пятке, словно клоун в мюзик-холле.

– Взгляни, – настаивала она, ведь доктор Холмс велел обращать его внимание на реальные вещи, сходить в мюзик-холл, поиграть в крикет – именно крикет, сказал доктор Холмс, хорошая игра на свежем воздухе, самое подходящее занятие для вашего мужа.

– Взгляни, – повторила она.

Взгляни, воззвала невидимая сущность, чей голос теперь говорил с ним, величайшим из людей, Септимусом, недавно перешедшим из жизни в смерть – он Господь, явившийся для возрождения общества, который простирался подобно покрову, снежному одеялу, пронзенному солнечными лучами, козел отпущения, вечный страдалец; но он же этого не хотел, простонал Септимус, отгоняя взмахом руки вечное страдание, вечное одиночество.

– Взгляни, – повторила Реция, потому что ему не следовало разговаривать с самим собой на людях. – Ну же! – взмолилась она.

На что тут смотреть? Так, пара овец, и все.

– Как пройти к станции «Риджентс-парк»? – Мэйзи Джонсон, приехавшая из Эдинбурга всего два дня назад, хотела узнать дорогу до станции подземки «Риджентс-парк».

– Не сюда – вон туда! – воскликнула Лукреция, отмахиваясь от девушки, чтобы та не гладела на Септимуса.

Оба такие странные, подумала Мэйзи Джонсон. Все здесь очень странное. Впервые приехала в Лондон поработать у дяди на Леденхолл-стрит, а теперь идет через утренний Риджентс-парк, и от пары на скамейке у нее мурашки – дамочка похожа на иностранку, господин выглядит странно – она и в глубокой старости будет помнить, как полвека назад шла по Риджентс-парку прекрасным летним утром. Ведь ей всего девятнадцать, и она наконец добилась своего – приехала в Лондон, и теперь все так странно, особенно эта парочка, у которой она спросила дорогу, женщина вздрогнула и махнула рукой, а мужчина выглядит и вовсе не от мира сего; наверное, ссорятся или даже расстаются навсегда – что-то явно происходит; и все эти люди (девушка снова вернулась на главную аллею), каменные фонтаны, чопорные клумбы, старики и старухи, по большей части больные, в инвалидных креслах – после Эдинбурга странно все. И Мэйзи Джонсон, примкнув к медленно бредущей, рассеянno озирающейся, обдуваемой ветерком компании – белки скачут и прихорашиваются, воробьи порхают и ищут крошки, собаки обнюхивают и метят ограждения, а теплый летний воздух оmyвает их и смягчает пристальные взгляды, которыми они встречают жизнь, придает им некую чудинку – Мэйзи Джонсон едва не расплакалась! (Потому что от молодого человека на скамье у нее мурашки. Она знает: что-то не так.)

Ей хотелось закричать: «Ужас! Ужас!» (Покинула своих близких, а ее предупреждали...) Почему я не осталась дома? – всхлипнула Мэйзи, вцепившись в шар на чугунной ограде.

Девчонка, подумала миссис Демпстер, которая часто выбиралась на ланч в Риджентс-парк и угощала корками белок, совсем не знает жизни. Лучше слегка расплыться, чуть расслабиться и не ждать от жизни слишком многого. Перси пьет. Лучше сын, чем дочь, подумала миссис Демпстер. С ним нелегко, поэтому девушка вызвала у нее невольную улыбку. Вполне симпатичная, значит, замуж выйдет, там и узнает, что к чему. Стряпня и прочие заботы. У мужей свои причуды. Как бы я поступила, знай все заранее? – задумалась миссис Демпстер, и ей захотелось шепнуть словечко Мэйзи Джонсон, почувствовать на старом морщинистом лице благодарный поцелуй. Тяжелая выдалась жизнь. Она лишилась всего: нет теперь ни роз, ни бывлой красоты, ни ног... (Миссис Демпстер поправила культы под юбкой.)

Розы, мысленно усмехнулась она. Что за чушь! На самом деле жизнь сводится к еде, питью и поиску пары, в жизни бывает и хорошее, и плохое, а розы вовсе не главное. Вот что

я скажу тебе, милочка: Кэрри Демпстер из Кентиш-тауна не променяет свой удел ни за что на свете! Впрочем, капелька сочувствия не помешала бы. Жаль, нет роз. Старушке захотелось сочувствия Мэйзи Джонсон, застывшей возле клумбы с гиацинтами.

Ох уж этот самолет! Миссис Демпстер всегда мечтала повидать чужие края. У нее племянник – миссионер. Аэроплан взмыл, набирая высоту. В Маргейте она часто ходила на море, хотя далеко не заплывала, и терпеть не могла женщин, которые боятся воды. Аэроплан пронесся и рухнул вниз. У нее перехватило дыхание. Снова вверх! Миссис Демпстер побилась бы об заклад, что в кабине сидит славный молодой парнишка, и вот он уносится все дальше и дальше, исчезает вдали, парит над Гринвичем и парусными судами на Темзе, над островком серых церквей, над собором Святого Павла, пока по обе стороны Лондона не раскинутся поля и темные, коричневые леса, где скачут по земле неугомонные дрозды, торопливо оглядываясь, хватают улиток и долбят их о камень раз, другой, третий...

Аэроплан уносился все дальше и дальше, пока в небе не осталась лишь яркая искра – стремление, средоточие, символ (так казалось мистеру Бентли, энергично подстригающему газон у себя в Гринвиче) души человеческой, ее упорства, думал мистер Бентли, огибая кедр, вырваться за границы своего тела, своего дома, силой мысли, теории Эйнштейна, гипотез, математики, законов Менделеева – аэроплан несся прочь.

На ступеньках собора Святого Павла стоял невзрачный, потасканного вида мужчина с кожаным портфелем и не решался войти, потому что внутри такая благодать, такой радушный прием, столько гробниц и реющих над ними знамен, прославляющих победы не над армиями – над докучливым духом, вечно толкающим на поиски истины, думал он, в результате чего я и очутился в подобном положении; вдобавок собор предлагает компанию, приглашает вступить в сообщество, к которому принадлежат великие, ради которого шли на смерть мученики; почему бы не присоединиться, думал он, поставить набитый листовками портфель к алтарю, к кресту, к символу того, что воспарило выше любых исканий, метаний, плетения словес и стало духом – бестелесным, призрачным – почему бы не войти? – подумал он, колеблясь, и тут над Ладгейт-серкус пролетел аэроплан.

Как ни странно, летел он тихо. Сквозь шум городского транспорта не прорывалось ни звука. Казалось, никто им не управляет и аэроплан мчится сам по себе. И вот он понесся прямо вверх, взмывая все выше и выше в порыве упоения, чистого восторга, выпуская струю белого дыма, которая складывалась в буквы Т, О, Ф.

– На что все смотрят? – спросила Кларисса Дэллоуэй у открывшей дверь горничной.

В холле стояла прохлада, словно в склепе. Зашуршав юбками, Люси заперла дверь, и миссис Дэллоуэй почувствовала себя покинувшей мир монахиней, вокруг которой смыкаются привычные покровы и дух ревностного служения. На кухне посвистывала повариха. Стучала пишущая машинка. Это – ее жизнь. Нагнувшись над столиком в холле, Кларисса прониклась домашней атмосферой, ощутила благодать и чистоту, взяла блокнот с телефонными сообщениями и напомнила себе, что подобные моменты – бутоны на древе жизни, цветы мрака, прекрасная роза, что распускается лишь для ее глаз; в Бога она не верит ничуть, но тем более обязана в повседневной жизни воздавать должное слугам, собакам и канарейкам, а больше всех – своему мужу Ричарду, который и есть основа всего – веселых звуков, зеленого света, даже свиста поварихи, поскольку миссис Уокер была ирландкой и насвистывала день-деньской – нужно воздавать, черпая из этого тайного ресурса прекрасных моментов, думала она, листая блокнот, и Люси стояла рядом, пытаясь объяснить...

– Миссис Дэллоуэй...

Кларисса прочла в блокноте: «Леди Брутон желает знать, придет ли мистер Дэллоуэй к ней сегодня на ланч».

– Мэм, мистер Дэллоуэй велел передать, чтобы к ланчу его не ждали.

– О нет! – воскликнула Кларисса, и Люси разделила ее разочарование (но не досаду), ощутила их единодушие, поняла намек, подумала о том, как господа любят друг друга, преисполнилась спокойствия за свою будущность и, приняв у миссис Дэллоуэй кружевной зонтик, словно священное оружие, которое роняет богиня, проявившая себя с честью на поле брани, бережно поместила его на подставку.

– Не страшись, – повторила Кларисса. – Не страшись палящего зноя.

Потрясение, которое она испытала, услышав, что леди Брутон позвала Ричарда на ланч одного, заставило ее пошатнуться и вздрогнуть, как водоросли в реке вздрагивают от удара весла.

Миллисент Брутон, чьи ланчи слыли презабавными, ее не пригласила. Никакая пошлая ревность их с Ричардом не разлучит, однако Кларисса страшилась бега лет и читала его на лице леди Брутон, как на циферблате, высеченном из бесстрастного камня; жизнь угасает, год за годом теряя по куску, теряя способность растягиваться, впитывать, как в юности, цвет, вкус, оттенки бытия. Раньше Кларисса заполняла собой всю комнату и ощущала восхитительный трепет, стоя на пороге гостиной, словно пловец перед прыжком в морскую пучину – вода под ним темнеет и сверкает, волны грозят разверзнуться, но лишь мягко перекатываются, затухают, подергиваются рябью, осыпая водоросли жемчужными брызгами.

Кларисса положила блокнот на столик в холле и медленно поднялась по лестнице, держась за перила, словно ушла с вечеринки, где друзья поочередно отражали ее лицо и голос, захлопнула дверь, вышла и стоит в одиночестве – одинокий силуэт в жуткой ночи, точнее, под пристальным взглядом будничного июньского утра, для кого-то наполненного сиянием роз, думала она, медля у распахнутого окна на лестничной площадке (шторы хлопают, собаки лают). На фоне всеобщей суеты, ветра, пышного цветения она внезапно ощутила себя усохшей, дряхлой, безгрудой, неуместной, ненужной, бесплотной – плоть и разум подвели, ведь леди Брутон, чьи ланчи слыли презабавными, Клариссу не пригласила.

Как удалившаяся от мира монахиня или ребенок, исследующий башню, она поднялась наверх, постояла у окна, зашла в ванную. Линолеум зеленый, из крана капает. Вместо средоточия жизни – пустота, чердак. Женщинам приходится снимать свой богатый убор. В середине дня они должны разоблачаться. Кларисса воткнула булавку в подушечку и положила шляпку с желтыми перьями на постель. Чистое белье, несмятые простыни. С годами кровать становится все уже. Свеча догорела до середины – Кларисса увлеклась мемуарами барона Марбо и допоздна читала про отступление из Москвы. Заседания палаты заканчиваются поздно, и Ричард настоял, что жене нужен спокойный сон, особенно после болезни. На самом деле читать про отступление французов ей нравилось больше, и он это знал. Комната была на чердаке, кровать – узкая. Кларисса часами лежала с книгой без сна. Засыпала она плохо, не в силах избавиться от девства, пронесенного сквозь роды, лишнего к телу, словно простыня. В юности оно придавало ей очарования, но по велению этого холодного духа она внезапно стала отвергать Ричарда. Сначала на реке среди лесов Кливдена, потом в Константинополе, снова и снова.

Кларисса понимала, чего ей не хватает. Вовсе не красоты, не ума. В ней изначально отсутствовала некая теплота, способная сломать лед между мужчиной и женщиной или между двумя женщинами. Впрочем, смутное влечение она испытывала. Кларисса возмущалась, чуралась его бог знает почему – видимо, была такой от природы (о, природа задумала все очень мудро), однако порой поддавалась очарованию зрелой женщины, отнюдь не девушки, хотя и младше ее, которая по женскому обыкновению делилась с ней подробностями какой-нибудь ссоры или безрассудной выходки. То ли из-за их красоты, то ли из жалости или чистой случайности вроде легкого аромата или мелодии скрипки (как странно на нас влияют звуки в иные моменты), Кларисса испытывала то же самое, что и мужчины. Лишь на миг, но этого вполне достаточно. Внезапное прозрение, смущение, которое тщетно пытаешься скрыть и не покраснеть, потом отдаешься ему без остатка, бросаешься к самому краю, замираешь и чувствуешь,

как мир приближается, распухает от потрясающей значимости, под бременем упоительного восторга, и вот уже тонкая кожа лопается, сок брызжет и заливает необычайным облегчением все трещинки и язвы. И в этот миг все озаряется – словно подносишь огонек к закрывшему лепестки крокусу, и внутри все озаряется, становится почти различимым снаружи. Затем близость отступает, возбуждение идет на убыль. Все кончено – момент миновал. Подобные эпизоды (в том числе и с женщинами) особенно резко контрастировали с узкой кроватью, мемуарами барона Марбо и наполовину сгоревшей свечой. Лежа без сна, Кларисса слушала, как скрипит пол, как в освещенном доме внезапно гаснет свет, и раздается осторожный щелчок – Ричард тихонько открывает дверь, крадется наверх в одних носках, роняет грелку и чертыхается. До чего смешно!

А как насчет любви, думала Кларисса, убирая пальто, как насчет любви к женщинам? Взять, к примеру, отношения с Сэлли Сетон в далекой юности. В конце концов, разве это была не любовь?

Она сидела на полу – такой Клариссе запомнилась первая встреча с Сэлли – она сидела на полу, обхватив колени, и курила сигарету. Где же это было? У Маннинггов? У Кинлок-Джонсов? Наверное, на какой-то вечеринке. Кларисса спросила у своего спутника: «Это еще кто?» Тот назвал имя и добавил, что родители Сэлли не ладят (в то время Кларисса даже не представляла, что родители могут ссориться!). Весь вечер она не сводила с девушки взгляда. Больше всего ее восхитило сочетание необычайной красоты (темноволосая, глаза огромные) и раскованности, которой Кларисса была лишена и всегда завидовала – такое чувство, что Сэлли способна сказать или сделать все что угодно; подобное качество скорее присуще иностранкам, чем англичанкам. Сэлли утверждала, что в ее жилах течет кровь предка-француза, который служил при дворе Марии-Антуанетты, потерял голову на гильотине и оставил потомкам кольцо с рубином. Тем летом она приехала в Бортон в гости – однажды после ужина нагрянула как снег на голову, чем ужасно расстроила бедную тетю Хелен. Родители поругались, и Сэлли в сердцах выбежала из дома буквально без гроша – пришлось заложить брошь, чтобы наскрести на дорогу. Девушки просидели за разговорами всю ночь. Именно Сэлли заставила Клариссу впервые в жизни ощутить, насколько замкнуто протекала ее жизнь в Бортоне. Она ничего не знала ни о сексе, ни о социальных проблемах. Однажды видела, как старик-крестьянин упал на поле замертво, видела коров после отела. Тетушка Хелен досужих бесед не поощряла (когда Сэлли принесла почитать Уильяма Морриса, обложку пришлось скрыть оберточной бумагой). Они часами сидели в спальне Клариссы, разговаривая о жизни и о том, как изменяет мир. Они собирались основать общество по упразднению частной собственности и даже написали обращение, хотя никуда и не отправили. Конечно, идеи принадлежали Сэлли, но вскоре ими загорелась и Кларисса – перед завтраком читала Платона, увлеклась Моррисом, Шелли.

Сэлли была личностью необыкновенно одаренной во всех отношениях. Взять, к примеру, как изумительно она разбиралась в цветах. В Бортоне всегда украшали стол небольшими чопорными вазами. Сэлли вышла в сад, нарвала мальвы, георгинов – любых цветов, которые не принято ставить вместе, – срезала головки и опустила в чаши с водой. Эффект получился потрясающий, особенно на закате, когда садишься ужинать. (Разумеется, тетюшка Хелен сочла подобное обращение с цветами варварством.) Или взять тот случай, когда она забыла мочалку и пробежала по коридору голой. Мрачная старуха-горничная, Эллен Аткинс, еще долго ворчала: «А ну как увидел бы кто из джентльменов?» Своими выходками Сэлли шокировала публику. Папа называл ее непутевой.

Вспоминая свое чувство к Сэлли, Кларисса поразились его чистоте и цельности. Оно не было похоже на то, что испытываешь к мужчине. Совершенно бескорыстное и окрашенное особой близостью, присущей лишь женщинам, причем недавно повзрослевшим. Вдобавок Кларисса всегда стремилась защитить подругу, ощущая родственную душу и предчувствуя близкую разлуку (в те дни обе относились к браку как к катастрофе), что породило дух

рыцарства, больше присущий ей, чем Сэлли. Та вела себя крайне безрассудно, совершала глупости из чистого сумасбродства – каталась на велосипеде по парапету террасы, курила сигары. Доходила до абсурда – до полного абсурда! Впрочем, следует отдать Сэлли должное, она обладала поистине неотразимым обаянием, и перед сном Кларисса не раз стояла в спальне наверху, прижимая к себе грелку с горячей водой, и шептала: «Мы с ней под одной крышей... Мы с ней под одной крышей!»

Теперь эти слова совершенно ничего не значили. Она не могла уловить даже эха прежних чувств. Зато помнила, как холодела от восторга и укладывала волосы в прическу в каком-то упоении (по мере того как Кларисса вынимала шпильки из волос, клала на туалетный столик и бралась за щетку, прежнее чувство понемногу возвращалось). За окном в вечернем розовом свете порхали грачи, она переодевалась к ужину, спешила вниз по лестнице, бежала по коридору и думала: «Умереть сейчас считал бы я высшим счастьем»². Она чувствовала то же, что и Отелло, причем столь же сильно, как и герой Шекспира, и все потому, что спускается в белом платье к ужину, где встретит Сэлли Сетон!

Та надела розовое платье из газа – разве такие бывают? В любом случае Сэлли казалась словно сотканной из воздуха, светилась, как птичка или пушинка, на миг опустившаяся на куст ежевики. Для влюбленного (что же это было, как не любовь?) нет ничего более странного, чем полное безразличие других людей. Тетушка Хелен куда-то отлучилась, папа читал газету. За столом наверняка сидел Питер Уолш, и старая мисс Каммингс, и старик Йозеф Брейткопф – бедняга приезжал каждое лето, гостил неделями и делал вид, что учит Клариссу читать по-немецки, а сам играл на рояле и распевал Брамса совершенно без голоса.

Все это было лишь фоном для Сэлли. Она стояла у камина и говорила красивым голосом, придававшим всему сказанному оттенок нежности, с папой, невольно поддавшимся ее обаянию (хотя так и не простившему ей испорченную книгу, которую Сэлли взяла почитать и забыла на террасе под дождем). Внезапно Сэлли воскликнула: «Что за нелепость сидеть дома в такую погоду!», и все отправились гулять. Питер Уолш с Йозефом Брейткопфом завели разговор о Брамсе. Кларисса с Сэлли подотстали. И тогда случился самый восхитительный момент в ее жизни! Проходя мимо каменного вазона, Сэлли сорвала цветок и поцеловала Клариссу в губы. Весь мир перевернулся с ног на голову! Все исчезли, они с Сэлли остались вдвоем. Кларисса словно получила подарок, который нельзя открывать, нельзя смотреть – бесценный бриллиант или вроде того. Пока они гуляли по саду (туда-сюда, туда-сюда), она развернула обертку или же сияние пробилось наружу – откровение, Божественное откровение! – и вдруг на них наткнулись старик Йозеф с Питером.

– Звездами любуетесь? – спросил Питер.

Все равно что влететь в темноте с разбега в гранитную стену! Ужас, просто ужас!

Не для нее, нет. Кларисса внезапно поняла, что Сэлли третируют, обижают; она ощутила враждебность и ревность Питера, норовившего вклиниться между ними. Она поняла сразу, как видишь всю местность при вспышке молнии, а Сэлли (до чего Кларисса восхищалась ею в тот миг!) повела себя как ни в чем не бывало. Она рассмеялась, спросила старика Йозефа, как называются созвездия, и тот принялся увлеченно рассказывать. Сэлли стояла и внимала. Она слушала названия звезд.

«Ужас!» – твердила Кларисса про себя, словно знала: кто-нибудь обязательно прервет, омрачит миг ее счастья.

И все же впоследствии она была многим ему обязана. Всякий раз, думая о Питере Уолше, Кларисса вспоминала ссоры по разным поводам – пожалуй, ей очень хотелось его одобрения. Она позаимствовала из его лексикона слова «сентиментальный», «цивилизованный» – с них начинался каждый день, точно Питер продолжал ее направлять. Сентиментальной могла быть

² У. Шекспир. «Отелло». Акт II, сцена 1.

книга, отношение к жизни. Пожалуй, с ее стороны вспоминать о прошлом «сентиментально». Интересно, что он подумает, когда вернется?

Что она постарела? Скажет вслух или промолчит? Впрочем, так и есть. За время болезни она совсем поседела.

Кладя брошь на стол, Кларисса содрогнулась, словно в нее вцепились ледяные когти. Она еще не старая! Ей едва исполнилось пятьдесят два. Впереди столько месяцев – июнь, июль, август! Как бы пытаясь поймать падающую каплю, Кларисса бросилась к зеркалу, погружаясь в самое средоточие момента, пригвождая к месту этот миг июньского утра, несущий на себе отпечаток всех других утр, оглядывая туалетный столик и флаконы так, словно видит впервые, собираясь в одну точку и рассматривая себя в зеркале, откуда глядела хрупкая, раздумывавшая женщина, у которой сегодня прием, – Кларисса Дэллоуэй, она сама.

Сколько миллионов раз она видела в зеркале свое лицо с чуть поджатыми губами! Кларисса делала так всегда, чтобы выглядеть более эффектно. Это она – демонстративная, решительная, четкая, как стрела, летящая в цель. Такой она становилась, когда не без усилий, из чувства долга собирала себя воедино из совершенно несовместимых, самых разнородных частей, и те сливались в одно целое, в сверкающий бриллиант, в хозяйку вечера, принимающую гостей, – несомненно, яркий луч света в их скучных жизнях, вероятно, утешение для одиноких. Кларисса помогала молодым, которые были ей благодарны, пыталась всегда оставаться неизменной, никогда не показывать свои недостатки – ревность, тщеславие, мнительность – вот как сейчас, с леди Брутон, не пригласившей ее на ланч. До чего подло, думала Кларисса, расчесывая волосы. Так, где же платье?

Вечерние платья висели в шкафу. Погрузив руку в ворох тонких тканей, Кларисса аккуратно достала зеленое и отнесла к окну. При искусственном освещении платье буквально сияло, но при дневном поблекло. Слегка порвалось – на приеме в посольстве ей наступили на подол, нитки затрещали. Придется чинить самой, ведь горничные слишком заняты. Она наденет его сегодня. Возьмет шелковые нитки, ножницы – что еще? – наперсток, конечно, и пойдет в гостиную, потому что нужно кое-что написать и проследить, чтобы все было более-менее в порядке.

Странно, подумала Кларисса, медля на лестничной площадке и входя в образ сверкающего бриллианта, вновь становясь цельной, странно, как хозяйка умеет выбрать нужный момент и до чего хорошо знает свой дом! Снизу доносились слабые отзвуки приготовлений – шуршит швабра, стучат в дверь, открывают и что-то говорят, потом передают поручение тем, кто в подвале; дребезжит на подносе серебро, которое чистят к приему. Все для приема!

(Люси, войдя в гостиную с подносом на вытянутых руках, поставила на каминную полку огромные канделябры, между ними – серебряную шкатулку, а хрустального дельфина повернула к часам. Гости придут, встанут, будут говорить так учтиво, что и послушать приятно, как настоящие леди и джентльмены. И ее госпожа – прекраснее всех, госпожа столового серебра, льняных скатертей, тонкого фарфора, ведь пока Люси клала нож для разрезания бумаги на инкрустированный столик, солнце, серебро, снятые с петель двери, посыльные от Румпельмайера давали ей почувствовать, что и сама она добилась чего-то особенного. Вот, глядите! – воскликнула Люси, обращаясь к старым подругам из булочной в Кейтрэме, где начала служить, и украдкой взглянула в зеркало. Теперь она – леди Анджела, прислуживающая принцессе Мэри, и тут в комнату вошла миссис Дэллоуэй.)

– Ах, Люси, серебро так и блестит! Кстати, вчерашний спектакль понравился? – поинтересовалась она, поправляя хрустального дельфина.

– Им пришлось уйти пораньше, чтобы вернуться к десяти! – воскликнула Люси. – Они и не знают, чем закончилось!

– Надо же, как не повезло, – отозвалась Кларисса (ее слугам разрешалось задерживаться, если предупредят). – Даже обидно, – добавила она, взяла с дивана старую, потертую подушку,

с нажимом вручила Люси и воскликнула: – Бери! Передай миссис Уокер с моими наилучшими пожеланиями! Бери!

Люси помедлила у двери, обняв подушку, и робко вызвалась, слегка покраснев, помочь с починкой платья. Но миссис Дэллоуэй сказала, что у горничной и без того полно забот, и заверила, что справится сама.

– Спасибо, что предложила, Люси, спасибо, – проговорила миссис Дэллоуэй, спасибо, спасибо, повторяла она (саясь на диван с платьем в руках, с ножницами, с нитками), спасибо, спасибо, твердила она, благодарная слугам за то, что помогают ей быть такой, как она хочет, кроткой, великодушной. Слуги ее любят. И это платье... где же оно порвалось? И нитку в иголку вдевать... Платье было любимое, сшитое у Сэлли Паркер, одно из последних – увы, Сэлли отошла от дел, живет в Илинге, а я так и не собралась ее навестить, подумала Кларисса (ни минутки свободной!), надо съездить в Илинг. Таких мастериц, как Сэлли, еще поискать. Вечно что-нибудь придумывала эдакое, и все же ее платья не смотрелись эксцентрично. Хоть в Хэтфилде носи, хоть на приеме в Букингемском дворце. Кларисса и надевала их и туда, и туда.

На нее снизошел покой, умиротворение, безмятежность – она плавно собрала ткань на иголку, совместила зеленые складки и легкими стежками пришила к поясу. Так волны в летний день подымаются, замирают и опадают, подымаются и опадают, и мир словно говорит: «Вот и все», с каждым разом более весомо, пока сердце в груди того, кто лежит на солнечном пляже, тоже не скажет: «Вот и все». Не страшись, вторит сердце. Не страшись, твердит сердце, отдавая свою ношу морю, которое в унисон вздыхает о всех печалях и возрождается, – волны вздымаются, замирают, обрушиваются вновь. И одинокий человек слушает, как пролетает пчела, разбивается волна, залиристо лает собака вдалеке...

– Боже мой, в дверь звонят! – взволнованно воскликнула Кларисса, закрепив нить, и прислушалась.

– Миссис Дэллоуэй меня примет, – сказал пожилой мужчина в холле. – Да, меня-то она примет, – повторил он, мягко отстранив Люси, и стремительно ринулся к лестнице. – Да-да-да! – пробормотал он, взбегая наверх. – После пяти лет в Индии Кларисса точно меня примет.

– Что за... кто за... – начала миссис Дэллоуэй (до чего возмутительно врываться в одиннадцать утра накануне приема!), заслышав шаги на лестнице. Постучали. Кларисса торопливо попыталась спрятать платье, защищая право на частную жизнь, словно девица целомудрие. Медная ручка повернулась. И вот дверь открывается, и в комнату входит... Сначала она даже не смогла вспомнить, как его зовут! – настолько удивилась, потом обрадовалась, засмутилась, опешила при виде Питера Уолша, явившегося поутру совершенно неожиданно. (Его писем она не читала.)

– Как поживаешь? – спросил Питер Уолш с явным трепетом, целуя ей руки. Постарела, подумал он, усаживаясь. Говорить не стану, решил он, потому что действительно постарела. Смотрит на меня, внезапно смутился он, хотя руки я поцеловал. Он полез в карман, достал большой перочинный нож и приоткрыл лезвие.

Ничуть не изменился, подумала Кларисса, все тот же странный взгляд, все тот же клетчатый костюм. Разве что лицо немного другое – чуть похудело, чуть усохло, но впечатление производит на удивление хорошее.

– Чудесно, что ты пришел! – воскликнула она.

Снова вертит в руках нож, как это похоже на Питера!

Вернулся в город ночью, сообщил Питер, нужно немедленно ехать в поместье. А как у нее дела, как домашние – Ричард? Элизабет?

– Это еще что? – поинтересовался он, указав ножом на зеленое платье.

Одет с иголочки, думала Кларисса, и как всегда меня критикует.

Сидит и чинит платье, так и просидела тут все время, пока я был в Индии, чинила платья, веселилась, ходила на приемы, бегала в парламент и все в таком духе, думал он, раздражаясь и накручивая себя все больше, словно для иных женщин нет ничего хуже, чем брак и политика, особенно если муж – консерватор, как несравненный Ричард! Так и есть, так и есть, думал он, с щелчком закрывая нож.

– У Ричарда все прекрасно. Ричард на заседании комитета, – сказала Кларисса.

Открыв ножницы, она спросила, позволит ли он ей закончить платье, ведь сегодня у них прием.

– И тебя я на него не позову, мой милый Питер!

Как заманчиво слышать из ее уст – мой милый Питер! Да тут заманчиво все – серебро, стулья – весьма заманчиво!

– Отчего же не позвать? – осведомился он.

Конечно, подумала Кларисса, он очарователен – просто очарователен! Теперь вспоминаю, как невообразимо сложно было решиться – и почему я не вышла за него замуж? – тем ужасным летом.

– До чего невероятно, что ты пришел именно сегодня! – вскричала она, сложив руки в замок. – А помнишь, как в Бортоне шторы хлопали на ветру?

– Еще бы, – ответил Питер и вспомнил, как неловко было завтракать вдвоем с ее отцом, который умер, а он так и не написал Клариссе... Впрочем, они не особо ладили со стариком Перри – ворчливым, малодушным стариком, отцом Клариссы, Джастином Перри.

– Я часто жалею, что не столкнулся с твоим отцом, – признался Питер.

– Ему же не нравился никто – то есть никто из наших друзей, – сказала Кларисса и едва не прикусила язык, ведь таким образом она невольно напомнила Питеру, что тот хотел на ней жениться.

Конечно хотел, подумал Питер, и это почти разбило мне сердце. На него нахлынула печаль, поднявшаяся словно луна над террасой – призрачно красивая в свете угасающего дня. Я несчастлив как никогда, подумал он и придвинулся к Клариссе, точно они и впрямь сидят на террасе, протянул руку и безвольно уронил. Так она и висела над ними неподвижно, эта луна. Кларисса тоже словно очутилась с ним на террасе, в лунном сиянии.

– Теперь там хозяин Герберт, – проговорила она. – Я туда больше не езжу.

И тогда, как бывает, когда сидишь на террасе в лунном свете, одному становится стыдно за свою скуку, а другой сидит молча, очень тихо, печально глядя на луну, не хочет разговаривать, и первый шевелит ногой, прочищает горло, замечает какой-нибудь завиток на кованой ножке стола, шуршит сухим листком и не говорит ничего – так поступил и Питер Уолш теперь. Зачем возвращаться в прошлое? Зачем снова об этом думать? Зачем его мучить, разве она мало его терзала? Зачем?

– Помнишь озеро? – резко спросила Кларисса, у которой от наплыва чувств защемило сердце, мышцы сковало спазмом, горло перехватило. Ведь одновременно она была и дитя, что кидает уткам хлеб, стоя между родителями, и взрослая женщина, что идет к родителям, застывшим у озера, и несет свою жизнь в руках; и чем ближе она подходит, тем больше та разрастается, пока не принимает законченную форму, и тогда Кларисса кладет ее перед ними и говорит: «Смотрите, что у меня получилось! Вот!» И что же у нее получилось? В самом деле, что? Сидит поутру и шьет рядом с Питером.

Она посмотрела на Питера Уолша. Исполненный сомнений взгляд пронзил время и чувства, печально уселся, потом вспорхнул и улетел прочь, словно птичка с ветки. Кларисса утерла слезы.

– Да, – ответил Питер. – Да, да, да! – воскликнул он, словно Кларисса вытащила занозу, давно причинявшую боль, и встал. Прекрати, прекрати! – хотелось ему вскричать. Ведь он еще не стар, жизнь вовсе не кончена, ни в коем случае. Ему лишь слегка за пятьдесят. Ска-

зять, подумал он, или нет? Ему хотелось выложить все начистоту. Однако Кларисса слишком холодна, сидит тут со своим шитьем, с ножницами. Дэйзи рядом с ней смотрелась бы весьма прозаично. Сочтет меня неудачником, подумал он, в глазах семейства Дэллоуэй я стану неудачником. Он ничуть не сомневался, что так и есть – на фоне инкрустированного столика, ножа для бумаг, дельфина и канделябров, чехлов на креслах и старинных английских граверов он – неудачник! Ненавижу чванство, подумал он, это все Ричард, Кларисса ни при чем, хотя и вышла за него замуж. (В комнату вошла Люси с серебром, снова серебро, впрочем, она очаровательна, стройна, грациозна, подумал он, когда та нагнулась и поставила поднос.) И так продолжается из года в год, думал Питер Уолш, неделя за неделей, вот и вся жизнь Клариссы, в то время как я... Внезапно перед его мысленным взором пронеслись поездки, прогулки верхом, ссоры, приключения, партии в бридж, любовные интрижки, работа-работа-работа! Питер достал из кармана свой нож – старый нож с роговой рукояткой, который, Кларисса могла поклясться, был у него лет тридцать, – и сжал в кулаке.

Что за странная привычка, подумала Кларисса, играть с ножом. Выглядит весьма легкомысленно, выставляет себя пустоголовым болтуном, как всегда. Но ведь и я такая же – снова взялась за шитье... И словно королева, чья стража уснула, оставив ее без защиты (внезапный визит Питера выбил Клариссу из колеи), и любой мог войти, увидеть ее лежащей в зарослях ежевики, Кларисса призвала на помощь все, что сделала в жизни, все, что любила – своего мужа, Элизабет, себя новую, которую Питер едва ли знает, – призвала прийти и дать врагу отпор!

– Ну и что у тебя происходит? – спросила Кларисса. Прежде чем начнется битва, лошади бьют землю копытом, мотают головой, блестя боками, изящно выгибают шеи. Так и Питер Уолш с Клариссой, сидя рядом на синем диване, бросали друг другу вызов. Питер вскипел, перебирая свои достижения и достоинства. Он черпал силу из разных источников – всевозможные заслуги, карьера в Оксфорде, брак, о котором Кларисса не знает ничего, любовь к Дэйзи, жизненные успехи в целом.

– Да уйма всего! – воскликнул Питер и поднес руки к вискам, подгоняемый бушующей в нем силой, которая металась туда-сюда, одновременно пугая и наполняя безудержным восторгом, словно невидимая толпа подхватила его на плечи и несет.

Кларисса села очень прямо и затаила дыхание.

– Я влюблен, – признался Питер, только не ей – поднявшейся из тьмы тени, которой не смеешь коснуться, но знаешь, что должен положить к ее ногам венок.

– Влюблен, – сухо повторил он, теперь обращаясь к Клариссе Дэллоуэй, – влюблен в женщину из Индии.

Венок возложен. Пусть Кларисса делает с ним все что угодно.

– Влюблен! – пробормотала Кларисса, бросив на Питера беглый взгляд. В его-то годы сгнать в пасти этого чудовища! Галстук-бабочка болтается на тощей шее, руки красные, да еще на полгода меня старше, а туда же! Сердцем она почувала, что он и в самом деле влюблен.

Однако неукротимый эгоизм, который влечет нас навстречу гибели, бурлящий поток, не знающий ни преград, ни цели, словом, неукротимый эгоизм залил ее щеки краской. Позабыв про недочиненное платье, Кларисса зарделась и помолодела, глаза заблестели, иголка в складках зеленого шелка слегка подрагивала. Питер влюблен! И не в нее... Разумеется, в какую-нибудь молодую женщину.

– И в кого же? – осведомилась она.

Пора снять эту статую с пьедестала и поставить между ними.

– Увы, она замужем, – признался он, – жена майора из Индии.

Питер улыбнулся с ироничной нежностью, представляя свою женщину Клариссе столь нелепым образом. (И все-таки влюблен, подумала Кларисса.)

– У нее, – добавил он весьма рассудительно, – двое маленьких детей, мальчик и девочка. Я приехал обсудить развод с адвокатом.

Вот они, подумал Питер. Делай с ними, что захочешь, Кларисса! Вот они! И с каждым мигом ему казалось, что под взглядом Клариссы жена майора из Индии (его Дэйзи) и ее маленькие дети становились все милее, словно он поджег серую гранулу, и на освежающем соленом воздухе их близости (ведь так или иначе, кроме Клариссы, никто его так не понимал и не соперничал ему) – их изысканной близости – выросло прелестное деревце.

Тешила самолюбие, вскружила голову, думала Кларисса, парой взмахов ножа придав очертания незнакомке, жене майора из Индии. Что за ерунда! Что за дурость! Подобным образом Питера морочат всю жизнь – вылетел из Оксфорда, женился на девице, подцепившей его на пароходе по пути в Индию, теперь вот жена майора, тоже из Индии – слава небесам, что Кларисса ему отказала! И все же он влюблен, ее старый друг, милый Питер, влюблен.

– Что будешь делать? – спросила она.

Всем займутся адвокаты и поверенные, господа Хупер и Грейтли из «Линкольнс-Инн», они все берут на себя, сказал Питер и принялся подрезать ногти перочинным ножом.

Ради всего святого, оставь свой нож в покое! – вскипела про себя Кларисса. Как ее всегда раздражали в нем дурацкая эксцентричность, малодушие, полное небрежение чувствами другого человека – к тому же теперь, в его-то годы! До чего глупо!

Все это я знаю, думал Питер. Знаю, что мне придется вытерпеть, подумал он, проводя пальцем по лезвию ножа, от Клариссы с мужем и всех остальных, но я покажу Клариссе... И вдруг, к безмерному удивлению, неподвластные ему силы внезапно схлынули, швырнули его оземь, и Питер разрыдался – плакал и плакал без тени стыда, сидя на диване, и слезы катились по щекам.

Кларисса взяла его за руку, притянула к себе, поцеловала – на самом деле она ощутила прикосновение щеки Питера к своей прежде, чем ей удалось унять трепет в груди – словно серебристые плюмажи пампасной травы взметнулись на шквалистом ветру. Все стихло, она сидела, держа Питера за руку, похлопывая по колену и чувствуя себя рядом с ним необычайно беззаботно и непринужденно, и вдруг отчетливо поняла: если бы я вышла за него, это удовольствие могло быть моим каждый день!

Для нее все кончено. Простыня не смята, кровать узкая. Кларисса укрылась от солнечного света в своей башне, оставив их собирать ежевику. Дверь захлопнулась, всюду осыпается штукатурка, сор из птичьих гнезд, и все кажется таким маленьким, звуки доносятся ослабевшие и унылые (ей вспомнилась вершина Лейт-Хилл), и – Ричард, Ричард! – безмолвно вскричала она, словно посреди ночи, когда резко проснулся и в темноте протягиваешь руку, ища помощи. На ланче у леди Брутон, вспомнила она. Муж меня покинул, я осталась одна навсегда, подумала Кларисса, складывая руки на коленях.

Питер Уолш ушел к окну и отвернулся, взяв с носовым платком. Такой подтянутый, сдержанный и хмурый, пиджак на худых лопатках чуть топорщился... Питер громко высморкался. Возьми меня с собой, дернулась было Кларисса, словно он собирался в дальнее путешествие, но в следующий миг, как бывает в театре, когда увлекательная и трогающая за душу пьеса подходит к концу – Кларисса убежала с Питером, прожила с ним целую жизнь – порыв миновал. Представление окончено, женщина берет свои вещи – пальто, перчатки, театральный бинокль – и выходит на улицу. Так и Кларисса поднялась с дивана и подошла к Питеру.

До чего странно, подумал он под шорох платья и стук каблучков, что она по-прежнему способна заставить сиять в летнем небе ненавистную луну с террасы Бортон.

– Скажи мне, – начал он, взяв ее за плечи. – Ты счастлива, Кларисса? Ричард тебя...

Распахнулась дверь.

– Вот и моя Элизабет! – воскликнула Кларисса, слегка переигрывая.

– Как дела? – спросила та, подходя к ним.

Удар Биг-Бена, отбивающего половину часа, вонзился между ними с необычайной мощностью, словно бьет гантелями друг о друга усердный, равнодушный, бесцеремонный молодой человек.

– Привет, Элизабет! – бросил Питер, поспешно сунув платок в карман, и добавил, не глядя: «Прощай, Кларисса», быстро вышел из гостиной, сбежал вниз по лестнице и открыл входную дверь.

– Питер! Питер! – окликнула Кларисса, спускаясь вслед за ним на лестничную площадку. – Мой прием – сегодня! Помни про мой прием! – надрывалась она, силясь перекричать шум транспорта с улицы и бой всех часов в доме.

На общем фоне голос Клариссы показался Питеру Уолшу слабым и очень далеким.

Помни про мой прием, помни про мой прием, ритмично вторил Питер Уолш ударам Биг-Бена, выходя на улицу. (В воздухе расходились свинцовые круги.) Ох уж эти приемы, подумал он, приемы у Клариссы. Зачем она вообще их устраивает? Он особо не винил ни ее, ни джентльмена с гвоздикой в петлице фрака, шагающего ему навстречу. Лишь один человек на свете влюблен по-настоящему. И этот счастливчик отразился в зеркальной витрине автомобильного салона на Виктория-стрит. За его плечами – вся Индия с горами и равнинами, с эпидемией холеры; округ по размеру как две Ирландии, и все решения приходится принимать в одиночку – он, Питер Уолш, впервые в жизни влюбился по-настоящему. Кларисса ожесточилась, к тому же стала сентиментальной, как он подозревал, заглядываясь на великолепные авто – интересно, сколько миль они могут проделать и на скольких галлонах? Кларисса не имеет ни малейшего понятия, что он увлекся механикой, внедрил у себя в округе культиватор, выписал из Англии несколько тачек, пусть кули ими и не пользовались.

То, как она произнесла фразу «Вот и моя Элизабет!», раздражало. Почему бы просто не сказать: «Вот Элизабет»? Прозвучало неискренне. И Элизабет тоже передернуло. (Последние отзвуки громогласного звона все еще колыхали воздух – пробило половину часа, слишком рано, только половина двенадцатого.) Молодежь он понимает, молодежь ему нравится. Кларисса всегда была слегка холодной, подумал он. Даже в юности в ней чувствовалась некая зажатость, которая в зрелые годы переходит в полное подчинение условностям, и тогда все пропало, все пропало, думал Питер, мрачно вглядываясь в стеклянные глубины и гадая, не рассердил ли ее ранним визитом. Внезапно его охватил стыд – свалил такого дурака, плакал, поддался эмоциям, рассказал ей обо всем – в который раз, в который раз!..

Как на солнце находит туча, так на Лондон опускается тишина и заполняет душу. Напряжение спадает. Время застывает. Мы умолкаем, останавливаемся. Тело человека удерживает лишь скелет привычки. Внутри ничего не осталось, сказал себе Питер Уолш, чувствуя опустошение, абсолютную пустоту внутри. Кларисса мне отказала, вспомнил он. Кларисса мне отказала.

А, сказала церковь Святой Маргариты тоном хозяйки, что входит в гостиную с ударом часов и видит: гости уже собрались. Я вовсе не опоздала. Сейчас ровно половина двенадцатого. И все же, пусть она и совершенно права, истинная хозяйка вовсе не стремится навязывать свое мнение. В ее голосе звучит печаль о прошлом, тревога о настоящем. Половина двенадцатого, говорит она, и звон колоколов Святой Маргариты проникает в сокровенные глубины сердца, свивается кольцами, словно живое существо, которое хочет довериться, раствориться в тебе, дрожа от восторга, обрести покой – так и Кларисса в белом платье, подумал Питер Уолш, спускается по лестнице с ударом часов. Это же Кларисса, подумал он в глубоком волнении и с изумительной ясностью, внезапно вспомнив о ней, будто звон колокола раздался много лет назад, застав их в комнате в миг особой, невероятной близости, прогудел медоносной пчелой от одного к другому и улетел, преисполнившись важности момента. Но что за комната? Что за миг? И почему он так искренне обрадовался, когда пробили часы? Звон Святой Мар-

гариты постепенно затих, и Питер подумал: ведь она недавно болела, и звук выразил немочь, страдание. У нее плохо с сердцем, вспомнил он, и внезапно громкость последнего удара отозвалась похоронным звоном – Кларисса упала замертво посреди гостиной. Нет! Нет! – вскричал Питер. – Она не мертва! Я не стар! – вскричал он и ринулся по Уайтхоллу так, словно навстречу ему несло будущее, насыщенное и бесконечное.

Он нисколько не стар, не осунулся, не высох. И плевать, что говорят они – чета Дэллоуэй, Уитбреды и им подобные (хотя, пожалуй, рано или поздно придется обратиться к Ричарду, чтобы тот помог с работой). Размашисто шагая вперед, он ожег взглядом статую герцога Кембриджского. Да, из Оксфорда он и правда вылетел. Он социалист, в известном смысле – неудачник. И все же будущее цивилизации – в руках подобных юношей, с их любовью к абстрактным идеалам. Таким был он сам тридцать лет назад – сидя в Гималаях, выписывал книги из самого Лондона, читал научную литературу, увлекался философией. Будущее – в руках подобных юношей, думал Питер.

Сзади донесся легкий шум, похожий на шелест листьев в лесу, а за ним Питера настиг шорох, и мерный глухой звук вторгся в его мысли, заставив печатать шаг по Уайтхоллу помимо его воли. Рядовые в военной форме, с винтовками, шли строем, глядя перед собой, двигая руками в такт, и на их лицах застыло выражение, напominившее Питеру надпись на постаменте, восхвалявшую чувство долга, благодарности, преданности и любви к Англии.

Прекрасная выучка, подумал Питер Уолш, начиная идти с ними в ногу. Солдаты вовсе не выглядели крепкими. По большей части это были хилые шестнадцатилетние мальчишки, которые уже завтра встанут к прилавку и будут торговать рисом или мылом. Теперь же их не касались ни плотские удовольствия, ни бытовые заботы – они торжественно следовали от Лондонской кольцевой, чтобы возложить венок на пустую могилу. Они дали обет, и участники уличного движения его уважили, грузовики остановились.

Мне за ними не поспеть, понял Питер Уолш, и они размеренно промаршировали мимо него, мимо всех – словно руками и ногами управляла одна воля, а жизнь во всем многообразии, со всеми неизбежностями лежала под спудом монументов и венков, силой дисциплины превращенная в застывший труп с пустым взглядом. Вот они идут, думал Питер Уолш, медля на краю тротуара, и все величественные статуи – Нельсон, Гордон, Хэвлок – черные, эффектные изображения великих воинов стоят, пристально глядя в будущее, словно тоже дали обет самоотречения (Питер Уолш чувствовал, что и он совершил великое самоотречение), измученные теми же искушениями, и в конце концов добились мраморной пристальности взгляда. Сам Питер Уолш к подобному взгляду вовсе не стремился, хотя в других уважал. К примеру, в этих мальчишках. Мучения плоти пока им неизвестны, думал он, глядя, как колонна исчезает в направлении Стрэнда – все, через что прошел я, подумал он, пересекая улицу и останавливаясь под статуей Гордона – того самого генерала Гордона, которым так восхищался в юности. Гордон стоял, согнув ногу в колене и скрестив руки – бедняга Гордон!..

И лишь потому, что кроме Клариссы о его возвращении еще никто не знал и земля после долгого плавания все еще казалась островом, Питера Уолша охватило чувство нереальности происходящего – вот он стоит на Трафальгарской площади в половине двенадцатого совсем один, живой и невредимый, всем чужой. Площадь подавляла. Что я? Где я? И почему, в конце концов, я это делаю? – думал он, и развод казался полным вздором. И разум увяз в трясине уныния, и накатили три чувства – сопереживание, огромное человеколюбие и, как следствие первых двух, непреодолимое, острое наслаждение – словно чужая рука распахнула шторы и он, не имея к этому акту ни малейшего отношения, стоит на перекрестке бесконечных улиц и волен идти куда пожелает. Много лет он не чувствовал себя таким молодым.

Спасен! И совершенно свободен – так чувствуешь себя, когда избавляешься от оков давней привычки, и разум, словно рвущееся на волю пламя, выгибается и клонится, норовя покинуть очаг. Сколько лет я не чувствовал себя таким молодым! – думал Питер, избавившись

(конечно, всего лишь на час-другой) от себя самого и чувствуя то же, что и ребенок, который выбежал за порог и видит старую няню, машущую ему из окна. Пересекая Трафальгарскую площадь и направляясь к Хеймаркету, он загляделся на проходившую мимо статуи Гордона молодую женщину и подумал: «До чего хороша». Мысленно он снимал с нее покров за покровом, пока она не стала той женщиной, о которой он всегда мечтал, – юной, но величавой, веселой, но сдержанной, темноволосой, но пленительной.

Подобравшись и украдкой поигрывая перочинным ножом, он пустился следом за ней, за этой женщиной, за этим радостным волнением – хотя незнакомка шла не оглядываясь, она манила его светом, выделяя из толпы, в уличном шуме словно проскальзывало имя – не Питер, нет, а то, как он мысленно обращался к себе. «Ты», – говорила она, всего лишь «ты», твердили ее белые перчатки и плечи. Когда она проходила мимо часового магазина Дента на Кокспер-стрит, длинные полы легкого плаща взметнулись от ветра, обещая обволакивающее тепло, печальную нежность – словно руки, готовые принять в объятия усталого...

Вряд ли замужем – слишком молода, подумал Питер, и красная гвоздика в ее петлице, которую он заметил, когда она шла через Трафальгарскую площадь, снова ожгла его глаза и разругманила губы. Стоит и ждет у края мостовой. В ней чувствуется достоинство. Не светская дама, как Кларисса, и не богата, как Кларисса. Интересно, леди или нет, гадал он, присматриваясь. Остроумная, бойкая на язык, думал Питер Уолш (почему бы иногда не дать волю фантазии), сдержанная, насмешливая, умеет владеть собой.

Женщина перешла улицу, он двинулся следом. Меньше всего ему хотелось поставить ее в неловкое положение. И все же, если она остановится, он предложит: «Давайте съедем по мороженому», и она ответит совершенно непринужденно: «Идемте».

Увы, между ними вклинились прохожие и заслонили ее. Он не сдавался, она преобразилась. Щеки покраснелись, в глазах – насмешка. Питер Уолш чувствовал себя искателем приключений – беззаботным, стремительным, отважным (не зря же он только вчера вернулся из Индии), романтичным флибустьером, которому дела нет до чертовых приличий, желтых пеньюаров, трубок, удочек в витринах, а также респектабельности, вечерних приемов и щеголеватых стариков при белых галстуках и жилетах. Он – флибустьер! Все дальше и дальше шла она впереди него – через Пикадилли, по Риджент-стрит; и ее плащ, перчатки, плечи гармонировали с бахромой, кружевами и боа из перьев в витринах; дух причудливой роскоши струился из магазинов на тротуар, как свет ночного фонаря растекается над изгородями, тонушими в темноте.

Прелестная и смеющаяся, она перешла через Оксфорд-стрит и Грейт-Портленд-стрит, свернула на соседнюю улочку и вот, вот он – подходящий момент! – незнакомка сбавила шаг, сунула руку в сумочку и, украдкой бросив в сторону Питера Уолша взгляд, который сказал «прощай», поставила точку – победную точку! – в мимолетном эпизоде, вставила в замочную скважину ключ, открыла дверь и зашла! В ушах прозвучал певучий голос Клариссы: «Помни про мой прием, помни про прием». Ничем не примечательный дом из красного кирпича, подвесные ящики с цветами, причем весьма безвкусными. Все кончено.

Позабавился, и хватит, думал он, задрав голову и разглядывая ящики с бледной геранью. Теперь веселью конец – разлетелось в прах, потому что было наполовину вымышленным, о чем он прекрасно знал. Питер Уолш сочинил приключение с девушкой, как сочиняешь большую часть своей жизни, – придумываешь себя, придумываешь ее, представляешь приятный флирт или нечто посерьезнее. Увы, подобное приключение ни с кем не разделишь – разлетается в прах.

Он развернулся и пошел по улице, думая, где бы посидеть, пока не настанет время визита в «Линкольнс-Инн» – к адвокатам Хуперу и Грейтли. Куда пойти? Неважно. Вперед, к Риджентс-парку. Ботинки Питера Уолша выстукивали по тротуару «не важно», потому что было еще рано, слишком рано.

Великолепное утро. Пульс лондонской жизни бьется ровно, как здоровое сердце – ни колебаний, ни перебоев. К особняку бесшумно подъехал автомобиль и аккуратно остановился. На тротуар выпорхнула хрупкая девушка в шелковых чулках и перьях, но на Питера Уолша особого впечатления не произвела (ему хватило одного приключения). В распахнутых дверях виднелись вышколенные слуги, рыжевато-коричневые чау-чау, холл с черно-белой плиткой и светлые шторы, развевающиеся на ветру. Такую жизнь он одобрял. В конце концов, Лондон, особенно в это время года, – выдающееся достижение цивилизации. Происходя из респектабельной англо-индийской семьи, по меньшей мере три поколения которой управляли делами целого континента (как странно, думал он, этим гордиться, ведь я не люблю ни Индию, ни империю, ни армию), Питер Уолш порой переживал моменты, когда цивилизация, даже подобного рода, становилась ему дорога, словно личное достижение; моменты гордости за Англию, слуг, чау-чау, обеспеченных девушек. Нелепо, но куда деваться. Доктора, коммерсанты, толковые женщины – все спешат по своим делам, такие пунктуальные, проворные, крепкие – кажутся достойными восхищения, хорошими людьми, которым и жизнь доверишь охотно, и мудростью житейской поделишься, и за помощью обратишься в трудную минуту. Как бы то ни было, спектакль и в самом деле довольно сносный, а он тем временем присядет в тени и покурит.

Вот и Риджентс-парк. Он гулял здесь в детстве – странно, что я постоянно вспоминаю детство, вероятно, из-за встречи с Клариссой, ведь женщины живут прошлым больше, чем мы, мужчины. Они привязываются к местам и к отцам – женщина всегда гордится своим отцом. В Бортоне было славно, очень славно, но со стариком он так и не поладил. Однажды вечером у них вышел конфликт – о чем-то поспорили, подробностей память не сохранила. Надо полагать, о политике.

Да, Риджентс-парк он помнил: длинная прямая аллея, слева – киоск с воздушными шарами, где-то еще стоит несуразная статуя с надписью. Он искал свободную скамью. Не хотелось, чтобы дергали, интересуясь, который час (Питера клонило в сон). Лучшее место, которое удалось найти, – подле пожилой седоволосой няньки со спящим в коляске младенцем, и он присел с краю.

Эксцентричная девушка, подумал он, вспомнив Элизабет, которая вошла в гостиную и встала рядом с матерью. Как выросла, совсем взрослая – скорее симпатичная, чем красивая. Вряд ли ей больше восемнадцати. Вероятно, с Клариссой не ладит. «Вот и моя Элизабет» и тому подобное – почему просто не сказать: «Вот Элизабет»? Как и многие матери, пытается выдать желаемое за действительное. Слишком полагается на свое обаяние и переигрывает.

По горлу приятно струился густой, ароматный дым сигары; он выпускал его кольцами, которые отважно боролись с воздухом, синие, круглые – попробую сегодня поговорить с Элизабет наедине, подумал он, – потом задрожали, приняли форму песочных часов и развеялись. Что за странные формы! Питер Уолш прикрыл веки, с трудом поднял руку и отшвырнул остаток сигары. По затуманенному сознанию прошла огромная метла, сметая ветки, детские голоса, шарканье ног и звуки шагов, уличный гул, то стихающий, то нарастающий. Он все глубже и глубже погружался под пушистое крыло сна и наконец завяз окончательно.

Услышав храп Питера Уолша на краю скамейки, седая нянька вернулась к вязанию. В сером платье, с неумоимо и бесшумно двигающимися руками, она казалась защитницей прав спящих, вроде тех призрачных существ, что возникают в сумерках леса, сотканые из воздуха и ветвей. Одиноким странник, бродяга, что тревожит заросшие тропы, нарушает спокойствие папоротников и огромного, в человеческий рост болиголова, поднимает взгляд и внезапно видит в конце пути исполинскую фигуру.

Пожалуй, он убежденный атеист, и подобные встречи с невероятным застигают его врасплох. Вне нашего разума нет ничего, лишь его порождения, думает он; жажда утешения, покоя,

бегства от этих жалких пигмеев, слабых, трусливых мужчин и женщин. Но если я могу ее представить, значит, в каком-то смысле она существует, думает он и идет по тропе, подняв взор к небу и ветвям, придавая им очертания женской фигуры, и с изумлением видит, как степенно они замирают, как величаво колыхнется от ветра темная листва, источая сострадание, понимание, прощение, а потом внезапно взмывают ввысь в хмельном буйстве стихий.

Таковы видения, что смущают одинокого странника, словно рог изобилия, полный фруктов, или шепот сирен, качающихся на зеленых морских волнах, или заросли роз, источающих дивный аромат, или бледные лица русалок, что поднимаются из глубин и манят рыбаков в воду.

Таковы видения, что непрестанно всплывают на поверхность, подкрадываются сзади, затмевают реальность, нередко подчиняя себе одинокого странника, лишая его земных страстей и желания вернуться, и взамен даруют покой, словно эта лихорадочная жизнь (думает он, устремляясь в глубь леса) есть сама простота, и бесчисленные множества вещей сливаются воедино; и этот призрак, сотканный из неба и ветвей, поднялся из бурного моря (странник стал старше, ему уже за пятьдесят), величественно распростер руки, и с них струится сострадание, понимание, прощение. Значит, думает он, я никогда не вернусь к свету лампы в гостиной, никогда не дочитаю книгу, никогда не выбью трубку, никогда не позвоню, чтобы миссис Тернер убрала. Лучше я подойду к этому исполину, который кивнет, подымет меня на ветвистые плечи и позволит улететь в небытие вместе с остальными.

Таковы видения. Одинокий странник вскоре выходит из леса. На пороге стоит старуха в развевающемся белом переднике и вглядывается в даль, заслоня глаза от солнца, и слабому духу мнится, что она ждет потерянного сына или погибшего всадника – воплощение матери, чьи сыновья пали в боях. Одинокий странник шагает по деревне мимо женщин, сидящих с вязаньем, мужчин, копающихся в саду, и вечер не предвещает ничего хорошего: люди застыли, словно над ними нависла неминуемая гибель, и бесстрашно ждут, когда нахлынет небытие.

Внутри дома, среди привычных вещей – буфет, стол, герань на подоконнике – внезапно возникают очертания экономки, нагнувшейся снять скатерть со стола, смягчаются в вечернем свете – прелестный символ, и лишь память об отсутствии тепла в человеческих отношениях не позволяет нам заключить ее в объятия. Женщина ставит джем на полку, закрывает дверцу.

– Что-нибудь еще желаете, сэр?

Но кому ответит одинокий странник?..

Старуха нянька вязала над спящим младенцем в Риджентс-парке. Питер Уолш храпел. Он проснулся совершенно внезапно, сказав себе: «Гибель души».

– Боже, Боже! – громко воскликнул он, потягиваясь и открывая глаза. – Гибель души.

Слова связались с неким эпизодом, с некоей комнатой, с неким прошлым, которое ему снилось. Наконец он вспомнил и эпизод, и комнату, и прошлое.

Это случилось в Бортоне летом в начале девяностых, когда он был страстно влюблен в Клариссу. Полон дом гостей, все смеются и разговаривают, сидят вокруг круглого стола после чая, комната купается в желтом свете и полна папиросного дыма. Разговор шел о соседке-эсквайре, имя он позабыл. Тот женился на своей горничной и привез ее в Бортон с визитом – и что за ужасный вышел визит! Дама разрядилась в пух и прах, «словно попугай», как выразилась Кларисса, передразнивая ее, и болтала без умолку. Она все говорила, и говорила, и говорила. Кларисса ее передразнивала. И вдруг кто-то спросил (вроде бы Сэлли Сетон), изменилось бы отношение присутствующих к этой даме, если бы они знали, что она родила ребенка до брака? (В те годы, в присутствии женщин, это был смелый вопрос.) Кларисса густо покраснела, сжалась и выпалила: «Теперь я не смогу с ней и слова сказать!» После чего вся компания, сидевшая за столом, смешалась. Получилось весьма неловко.

Он вовсе не винил Клариссу, ведь в те годы девушка ее воспитания не знала о жизни ничего, но его взбесил тон – испуганный, резкий, немного надменный, ограниченный, ханжеский. «Гибель души». Он проговорил это машинально, по привычке снабдив момент ярлыком – гибель ее души.

Все вздрогнули. Казалось, от ее слов они пригнулись и встали уже другими. Сэлли Сетон, как проказливое дитя, что смущенно подается вперед, собираясь заговорить, но боится, ведь Клариссы побаивались все. (Сэлли была ее лучшей подругой, всегда рядом и так на нее не похожа – притягательная, красивая, темноволосая и по тем временам очень смелая, а он давал ей иногда сигару, которую она выкуривала у себя в комнате. То ли с кем-то помолвлена, то ли поссорилась с родителями – старина Перри терпеть не мог и Сэлли, и Питера, что весьма их сблизило.) Кларисса с оскорбленным видом встала, извинилась и вышла. Открывая дверь, она впустила в дом огромного мохнатого пса, который бегал за овцами. Бросилась его обнимать и сюсюкать. Она словно говорила Питеру – сцена предназначалась ему, он знал – «Из-за той женщины ты считаешь меня вздорной, но посмотри, какая я бываю чуткая, посмотри, как люблю своего Роба!».

Им всегда было свойственно понимать друг друга без слов. Кларисса сразу чувствовала, что он ее осуждает, и пыталась доказать свою невиновность – устраивала что-нибудь вроде этой возни с псом, – однако провести его никогда не удавалось, Питер видел ее насквозь. Вслух он, конечно, не говорил ничего, просто сидел с угрюмым видом. Так начинались многие их ссоры.

Она хлопнула дверью, и он ощутил глубокую подавленность. Все казалось бесполезным – влюбляться, ссориться, мириться, и он бродил один вокруг надворных строений и конюшен, смотрел на лошадей. Местечко было довольно скромным – семейство Перри достатком не отличалось, зато всегда держало грумов, конюхов (Кларисса любила ездить верхом), старого возничего (как же его звали?) и старуху-няньку по прозвищу то ли Мамушка, то ли Нянюшка, которую все ходили навещать в маленькую комнатку с кучей старых фотографий и птичьих клеток.

Что за ужасный вечер! Питер мрачнел все больше и больше, не только из-за того эпизода – из-за всего. Он не мог ни подойти к ней, ни объясниться – ее постоянно окружали гости. Кларисса вела себя так, словно ничего не случилось. В самой глубине ее души сидел бес – временами она бывала холодная, бесчувственная, вот как утром, не подступишься. И все же, видит Бог, он ее любил. Кларисса обладала странным даром играть на нервах – буквально превращать их в скрипичные струны и играть.

Он вышел к ужину довольно поздно – хотел привлечь к себе внимание, дурак такой, и сел рядом со старой мисс Перри, тетужкой Хеленой, сестрой мистера Перри, которая восседала во главе стола в белой кашемировой шали, лицом к окну – внушительная пожилая леди. Впрочем, к нему она относилась благосклонно, поскольку Питер отыскал один редкий цветок, а старуха чрезвычайно увлекалась ботаникой, разгуливала повсюду в грубых сапогах и с черной коробкой для сбора растений, висящей за спиной. Он сел рядом с мисс Перри, не в силах говорить. Казалось, жизнь проносится мимо, и он просто сидел и ел. Наконец в середине ужина он заставил себя взглянуть на Клариссу. Она беседовала с молодым человеком по правую руку. На Питера внезапно снизошло откровение: они поженятся, сказал он себе, хотя даже имени его не знал.

Именно в тот день, в тот самый день появился Дэллоуэй. Кларисса назвала его Уикхемом, с этого все и началось. Он пришел с кем-то из общих знакомых, и Кларисса запомнила имя неправильно. Представляла всем как Уикхема, тот не выдержал и выпалил: «Мое имя – Дэллоуэй!» Таким Питеру Уолшу он и запомнился – светловолосый юноша, довольно нескладный, сидя в шезлонге, выдает: «Мое имя – Дэллоуэй!» Сэлли после этого его иначе и не называла.

В то время прозрения на Питера так и сыпались. Осознание, что Кларисса выйдет замуж за Дэллоуэя, его буквально ослепило, потрясло до глубины души. С Дэллоуэем она держалась –

как бы выразиться поточнее? – непринужденно, что ли, в ее тоне проскальзывали нежные, материнские нотки. Обсуждали они политику. Весь обед Питер пытался расслышать, о чем они говорят.

Позже он стоял в гостиной возле кресла старой мисс Перри. Подошла Кларисса, блистая безупречными манерами – образцовая хозяйка – и хотела с кем-то его познакомить; разговаривала так, будто впервые видит, что вывело Питера из себя. Тем не менее он продолжал ею восхищаться. Он восхищался ее храбростью, социальным инстинктом, выдержкой. «Образцовая хозяйка», – шепнул он ей, и Кларисса содрогнулась. Он добился, чего хотел. Увидев ее с Дэллоуэем, Питер был готов на любую гадость. И Кларисса ушла. У него создалось впечатление, что все против него сговорились: смеются, обсуждают за спиной. Так он и застыл возле кресла мисс Перри, словно деревянная статуя, посреди беседы о полевых цветах. Таких адских мук на его долю еще не выпадало! Вероятно, он даже забыл притвориться, что слушает. Наконец он очнулся, поймал на себе пристальный взгляд мисс Перри, полный возмущения и тревоги. Он едва не вскричал, что не может больше уделять ей внимания, потому что испытывает адские муки! Гостиная пустела. Кто-то говорил, что нужно захватить плащи – на воде прохладно. Они собрались покататься по озеру на лодках при луне – очередная безумная затея Сэлли. И все вышли в сад, бросив Питера одного.

– Разве ты не хочешь пойти с ними? – спросила тетушка Хелена, обо всем догадавшись.

Он обернулся и снова увидел Клариссу. Она вернулась за ним. Питера поразило ее великодушие, ее благородство.

– Пойдем, – поторопила она. – Нас ждут.

Никогда в жизни он не был так счастлив! Они помирились без слов. Путь к озеру подарил ему двадцать минут полного счастья. Ее голос, смех, платье (воздушное, белое с малиновым), ее душевный настрой, бурная фантазия. Кларисса подбила их причалить и обследовать остров, она напугала курицу, хохотала, пела. И на протяжении всей прогулки, четко осознавал Питер Уолш, Дэллоуэй постепенно влюблялся в нее, а она в него. Впрочем, тогда ему было все равно. Они сидели на земле и разговаривали – он и Кларисса. Они скользили по мыслям друг друга без каких-либо усилий. И вдруг все закончилось. Садясь в лодку, он отрешенно, без всякого сожаления сказал себе: «Она выйдет замуж за этого мужчину», как нечто само собой разумеющееся. Дэллоуэй женится на Клариссе.

Лодкой правил Дэллоуэй. Он молчал, но почему-то, стоило ему прыгнуть на велосипед (до его дома было миль двадцать через лес), вильнуть на повороте, помахать им рукой и исчезнуть, как стало ясно: он тоже невероятно глубоко переживает и тоже чувствует все это – ночь, романтику, Клариссу. Он ее заслужил.

Питер понимал, что ведет себя нелепо. Его завышенные требования к Клариссе (как ему виделось теперь) были нелепы. Он закатывал ей кошмарные сцены. Вероятно, она все же приняла бы его предложение, будь он менее нелеп, как считала Сэлли. Тем летом она писала ему длинные письма – как они разговаривали о нем, как Кларисса его превозносила, как плакала... Лето выдалось престранное – сплошь письма, ссоры, телеграммы – приезжал в Бортон поутру, болтался неподалеку, пока не встанут слуги, потом чудовищные тет-а-тет со стариком Перри за завтраком, тетушка Хелена – грозная, но добрая, Сэлли то и дело вытаскивает по секретничать в сад, Кларисса – в постели с головной болью.

Последняя ссора, самая жуткая из всех, что случались в его жизни (может, он и преувеличивает, но так кажется теперь) произошла в очень жаркий день, в три часа пополудни. Началось все с пустяка – Сэлли за ланчем упомянула Дэллоуэя, назвав его «Мое имя – Дэллоуэй»; Кларисса внезапно надулась, вспыхнула и резко выпалила: «Эта плоская шутка меня достала!» Вот, собственно, и все, но для Питера это было равносильно тому, как если бы она заявила: «С вами я просто развлекаюсь, а с Ричардом Дэллоуэем у меня все серьезно». Так он ее понял

и лишился сна. «Пора ставить точку», – сказал он себе и передал через Сэлли записку с просьбой встретиться в три часа у фонтана. «Это очень важно», – приписал он в конце.

Фонтан находился в небольших зарослях кустарника вдалеке от дома, со всех сторон его окружали деревья. Кларисса пришла раньше назначенного времени, и они стояли по краям неисправного фонтана, из которого медленно капала вода. До чего иной раз мелкие детали западают в память! К примеру, ярко-зеленый мох.

Она не двигалась. «Скажи мне правду, скажи мне правду», – твердил он. Невыносимо ломило виски. Она вся сжалась, оцепенела. Она не двигалась. «Скажи мне правду», – повторил он, и вдруг старик Брейткопф опустил «Таймс», которую читал на ходу, уставился на них, открыв рот, и пошел дальше. Они не двигались. «Скажи мне правду», – повторил он, обливаясь слезами, но Кларисса не поддавалась. Она была тверда как железо, как кремнь, такая же незыблемая и несгибаемая. Потом она проговорила: «Что толку? Все кончено». Ответ прозвучал как пощечина. Кларисса повернулась и пошла прочь.

– Кларисса! – вскричал он. – Кларисса!

Она так и не вернулась. Все было кончено. Вечером он уехал и с тех пор больше ее не видел.

Ужасно, вскричал он, ужасно, ужасно!

И все же солнце припекает, жизнь продолжается, боль рано или поздно утихает. И все же, подумал он, зевая и оглядываясь по сторонам, со времен его детства Риджентс-парк мало изменился, пожалуй, не считая белок, но наверняка есть и перемены к лучшему... И тут малышка Элиза Митчелл, собиравшая камешки для коллекции, которую они с братом хранили в детской на каминной полке, высыпала в подол няньки полную пригоршню, помчалась за новыми экспонатами и врезалась в ноги проходившей мимо леди. Питер Уолш рассмеялся.

Лукреция Уоррен Смит твердила про себя: «Это жестоко, почему я должна страдать? Я больше не могу!» Она шла по широкой дорожке, покинув Септимуса, который больше не Септимус, говорит неприятные, скверные вещи, разговаривает сам с собой, разговаривает с сидящим рядом мертвецом, и вдруг в нее с разбега врезался ребенок, упал ничком и расплакался.

Лукреция облегченно вздохнула, отвлекшись от тяжелых мыслей, подняла малышку на ноги, отряхнула и поцеловала.

Со своей стороны, она не сделала ничего плохого – полюбила Септимуса, обрела счастье; покинула ради него прекрасный дом в Италии, где до сих пор живут и шьют шляпы ее сестры. Почему она должна страдать?

Малышка убежала к няне, та ее поругала, утешила, отложила вязанье и взяла ребенка на руки, и добродушного вида джентльмен дал ей свои часы поиграть – но почему именно Реции выпала подобная доля?! Почему она не осталась в Милане? Почему так мучается? Почему?

Перед глазами расплывалась аллея, няня с ребенком, джентльмен в сером, коляска. Похоже, злобный мучитель будет терзать ее вечно. Почему? Реция чувствовала себя птичкой под сухим листом, которая щурится от солнца, когда тот шевелится, и вздрагивает от треска ветки. Брошенная на произвол судьбы, окруженная громадными деревьями, огромными облаками равнодушного мира, измученная и одинокая, но почему она должна страдать? Почему?

Реция нахмурилась, топнула ногой. Она должна вернуться к Септимусу – почти пора идти к сэру Уильяму Брэдшоу. Она должна вернуться к мужу, сидящему на зеленой скамейке под деревом и болтающему с самим собой или с тем мертвецом Эвансом, которого она видела лишь мельком. Приятный, спокойный парень, лучший друг Септимуса, погиб на войне. Такое случается сплошь и рядом – у всех есть друзья, погибшие на войне. И всем приходится чем-нибудь жертвовать, вступая в брак. Она бросила свой дом, приехала в этот противный Лондон,

а Септимус постоянно думает о всяких ужасах, хотя она себе такого не позволяет. Он становится все более странным, слышит за стеной какие-то голоса. Миссис Филмер считает, что он чудит. Вдобавок Септимусу мерещится всякое – например, голова старухи в зарослях папоротника. И все же он может быть счастливым, если захочет. Однажды они отправились в Хэмптон-корт, сидели на верхней площадке омнибуса и были вполне счастливы. Красные и желтые цветочки – как плавучие фонарики в траве, воскликнул муж, и болтал, и смеялся, и выдумывал всякие истории. Внезапно он сказал: «А теперь мы покончим с собой» – они как раз стояли у реки, и Септимус смотрел на воду с тем же выражением, что появляется в его глазах при виде проезжающего поезда или омнибуса, – они его просто завораживали. Лукреция испугалась и схватила его за руку. По пути домой муж вел себя вполне спокойно и сдержанно, уверял, что они должны покончить с собой, ведь люди на улице дурные и замышляют недоброе. Ему известны все их мысли, говорил Септимус, ему известно все. Он постиг смысл мироздания.

Домой он едва доплелся. Лег на диван, схватил ее за руку – боялся упасть вниз, вниз, прямо в пламя! По стенам ему чудились лица, которые хохотали, обзывались отвратительными словами, тыкали в него пальцами, хотя в комнате не было никого. Септимус принялся болтать сам с собой, отвечать невидимым людям, спорил, смеялся, кричал, разволновался и заставил ее записывать всякую чушь – про смерть, про мисс Изабел Поул. Просто невыносимо! Впрочем, пора возвращаться.

Вон и Септимус. Сидит, уставившись в небо, и бормочет, ломая руки. Доктор Холмс считает, что с ним все в порядке. Почему же тогда муж вздрогнул, стоило ей присесть рядом, скривился, отпрянул и берет ее за руку, подносит к лицу и смотрит в ужасе? Неужели из-за того, что она сняла обручальное кольцо?

– Пальцы стали тонкими, – пояснила Реция. – Кольцо в сумочке.

Септимус уронил руку. Браку пришел конец, подумал он с болью и облегчением. Веревка перерезана, прыжок в седло – и он свободен, поскольку решено, что именно он, владыка Септимус, должен быть свободен; лишь он один (обручальное кольцо жена выбросила, значит, и его покинула), лишь он, Септимус, из всех толп людских призван услышать истину, постигнуть смысл, который наконец-то, после всех усилий цивилизации – греки, римляне, Шекспир, Дарвин и теперь он сам – и сообщить... «Кому же» – воскликнул Септимус вслух. «Премьер-министру», – прошуршали голоса в ветвях. Великую тайну надо рассказать кабинету министров – начать с того, что деревья живые, преступления не существует, потом любовь, всеобщая любовь, бормотал он, задыхаясь, дрожа, с болью вытягивая из себя глубинные истины, что требовало невероятных усилий, настолько глубоко они залегали, но ведь они изменяют мир полностью, бесповоротно...

Преступления не существует, только любовь, повторил он, шаря по карманам в поисках визитной карточки и карандаша, и тут его брюки обнюхал скайтерьер. Септимус испуганно вздрогнул. Пес превращается в человека! Жуткое зрелище! Смотреть на такой ужас просто невыносимо! Пес затрусил прочь.

Милосердие небес беспредельно! Его пощадили, помиловали. Но каково же научное обоснование? (Научное обоснование есть у всего, надо только поискать.) Почему он видит человека насквозь, прозревает будущее, в котором собаки становятся людьми? Вероятно, так действует аномальная жара на мозг, ставший чувствительным в ходе бесконечной эволюции. С научной точки зрения плоть тает, отторгается от мира. Его тело истончалось до тех пор, пока не остались одни лишь нервные волокна. Он лежит на скале, словно вуаль.

Септимус откинулся на спинку, измученный и все же приободренный. Он отдыхал и ждал, когда сможет снова вещать человечеству – вещать с усилием, с мукой. Он лежал очень высоко, на вершине мира. Земля под ним трепетала. Сквозь плоть прорастали красные цветы, их жесткие листья шуршали над головой. В скалах зазвенела музыка. Клаксон на улице, про-

бормотал Септимус, здесь же мелодия перекачивается между уступами, дробится, выстраивается в ударные волны звука, которые вздымаются гладкими колоннами (то, что музыка может быть видимой, стало для него открытием), превращается в гимн, и гимн сплетается со звуками свирели мальчика-пастуха (старик возле пивной наигрывает на свистковой флейте, шептал он), которая, когда мальчик стоит неподвижно, звенит переливами, и издает тонкие трели, когда тот взбирается выше. Пастушок исполняет элегию прямо посреди улицы, думал Септимус, теперь уходит в снега, и его обвивают розы – крупные красные розы, что растут на стенах моей спальни. Музыка стихла. Видимо, бродяга собрал свои гроши и подался к следующей пивной.

Септимус продолжал лежать на вершине скалы, как мертвый моряк. Я перегнулся через борт и упал в море, подумал он. Ушел под воду. Я умер, и я жив, но дайте же, дайте отдохнуть, взмолился он (снова разговаривает сам с собой – ужасно, ужасно!). Перед пробуждением голоса птиц и стук колес соединяются в причудливом созвучии, звенят все громче и громче, и спящего влечет на берег жизни; так и Септимуса повлекло в явь, солнце начало припекать, звуки стали резче, и он понял – грядет нечто невообразимое.

Нужно лишь открыть глаза, но на веках тяжесть. Страх. Он сжался, сделал усилие, посмотрел и увидел Риджентс-парк. К ногам ласкались длинные полосы солнечного света, деревья качались, махали ветвями. Мир словно говорил: мы одобряем, мы принимаем, мы создаем – создаем красоту. И как бы пытаюсь это доказать (с научной точки зрения), красота возникала повсюду, куда ни взгляни – на дома, на антилоп, вытягивающих шеи за оградой. Что за изысканное удовольствие наблюдать, как лист трепещет на ветру! В небесах реяли ласточки, взмывали ввысь, падали вниз, нарезали круги, безупречно контролируя свои движения, словно привязаны к резинкам; мухи сновали туда-сюда, солнце шаловливо высвечивало то один листок, то другой, щедро заливая их золотом; то и дело среди стебельков травы разносился изумительный перезвон (наверное, звякают автомобильные клаксоны) – и все это, каким бы спокойным и разумным, каким бы обыденным оно ни казалось, теперь стало истиной. Красота и есть истина! Красота – повсюду...

– Септимус, время, – напомнила Лукреция.

Слово «время» расщепило скорлупу, обдало Септимуса своими дарами, и с губ непроизвольно посыпались – как ракушки, как стружка с рубанка – твердые, белые, нетленные слова и полетели занимать свое место в Оде времени, бессмертной Оде времени. Он запел. Из-за дерева подхватил Эванс. Мертвецы теперь в Фессалии, пел Эванс, среди орхидей. Ждут, что война закончится, и тогда все мертвые, и тогда сам Эванс...

– Бога ради, уйдите! – вскричал Септимус, не в силах смотреть на мертвецов.

Но ветви раздвинулись – к ним шел человек в сером. Эванс! Ни грязи, ни ран – несколько не изменился. Я должен рассказать всему миру, возопил Септимус, простирая длань (мертвец в сером костюме неотвратимо приближался), простирая длань, словно одинокий исполин, веками оплакивающий в пустыне людские судьбы, закрыв руками изборожденный горестными морщинами лик; свет на краю пустыни вспыхивает и поражает черный силуэт (Септимус приподнялся со скамьи), несметные толпы простираются ниц перед ним, величайшим плакальщиком, и на миг...

– Септимус, я так несчастна! – воскликнула Лукреция, пытаясь усадить его обратно.

Миллионы горько застонали – они горюют испокон веку. Сейчас он наконец-то поведаст им об облегчении, о радости, об удивительном откровении...

– Время, Септимус, – повторила Лукреция. – Сколько времени?

Говорит сам с собой, смотрит в никуда – проходящий мимо джентльмен наверняка заметил. Глядит прямо на них.

– Сейчас скажу, – медленно протянул Септимус, загадочно улыбаясь мертвецу в сером костюме, и тут пробили часы на башне – без четверти двенадцать.

Эх, молодежь, подумал Питер Уолш, удаляясь. Ссорятся прямо с утра – на бедной девушке лица нет. Интересно, что наговорил ей молодой человек в плаще? Что за неурядица ввергла их в отчаяние в такой прекрасный летний день? Забавно, как после пятилетней отлучки возвращение в Англию придает ощущение новизны (по крайней мере, первые несколько дней) буквально всему – ссоре влюбленных под деревом, семейной идиллии парков. Прежде Лондон вовсе не выглядел таким чарующим – размытая перспектива, богатство и изобилие, зелень, словом, по сравнению с Индией – цивилизация, думал он, шагая по лужайке.

Пожалуй, восприимчивость к внешним впечатлениям его и погубила. Несмотря на солидный возраст, у Питера Уолша случались перепады настроения, свойственные юности: бывали хорошие дни, бывали плохие, причем без всяких причин. Он мог испытать счастье при виде красивого лица или стать совершенно несчастным при виде оборванца. Разумеется, после Индии немудрено влюбляться во всех женщин подряд. В англичанках чувствуется некая новизна – даже самые бедные одеваются гораздо лучше, чем пять лет назад, да и мода теперь на редкость привлекательная: длинные черные плащи, женщины неизменно стройны и элегантны, к тому же привычка краситься стала повсеместной. У каждой, даже самой добропорядочной леди, цветут розы на щеках, кроваво-красные губы, черные как смоль локоны – все продумано, возведено в ранг искусства; несомненно, изменилось многое. Интересно, о чем теперь думает молодежь?

Последние пять лет, с 1918-го по 1923-й, как подозревал Питер Уолш, очень важны. Люди стали выглядеть иначе. Изменились газеты. К примеру, в одном вполне уважаемом еженедельнике появился репортер, который совершенно открыто пишет о ватерклозетах. Десять лет назад об этом и подумать никто не мог! А использование румян, пудреницы и помады на публике? На борту парохода, идущего в Англию, молодые люди – особенно ему запомнились Бетти и Берти – флиртовали у всех на виду; пожилая мать сидела с вязаньем и наблюдала за ними, спокойная, как удав. Девушка невозмутимо пудрила носик на глазах у других пассажиров. И ведь даже не обручены – просто развлекаются в свое удовольствие, никаких обязательств. Не девушка, кремь – Бетти как-ее-там? – хотя и славная. Лет в тридцать станет хорошей женой – выйдет замуж, когда сочтет нужным, причем за богатого, поселится с ним в большом доме под Манчестером.

У кого же все так и сложилось? – спросил себя Питер Уолш, свернув на центральную аллею. – Что за особа вышла за богатого и живет в большом доме под Манчестером? Совсем недавно она написала ему длинное, излишне сентиментальное письмо про синие гортензии. Увидела цветы и вспомнила о нем, о старых добрых временах... Ну конечно, Сэлли Сетон! Никогда бы не подумал, что именно она выйдет замуж за богача и поселится в роскошном особняке в окрестностях Манчестера – шальная, дерзкая, романтическая Сэлли!

Из всей старой компании приятелей Клариссы – Уитбредов, Киндерли, Каннингемов, Кинлок-Джонсов – Сэлли, пожалуй, была самой лучшей. В любом случае, она хотя бы пыталась разобраться в происходящем. Единственная из всех видела Хью Уитбрета насквозь – распрекрасного Хью, – в то время как Кларисса с остальными перед ним так и стелилась.

«Уитбреды? – послышался Питеру ее голос. – Да кто такие эти Уитбреды? Торговцы углем. Респектабельные торгаши».

Сэлли терпеть его не могла. Ни о чем, кроме своей внешности, не думает, сказала она. Небось мечтает жениться на принцессе и стать герцогом. И в самом деле, Хью питал истинное безграничное, непритворное, возвышенное почтение к британской аристократии, подобного которому Питер Уолш ни в ком не встречал. Это пришлось признать даже Клариссе. Ах, но ведь Хью такой душа, такой самоотверженный – бросил стрельбу, чтобы порадовать старушку-мать, помнит дни рождения всех тетушек и все в подобном духе.

Справедливости ради, провести Сэлли ему не удалось. Питеру особенно запомнилось, как одним воскресным утром посреди спора о правах женщин (тема старая, как мир) Сэлли

вспыхнула, потеряв терпение, и воскликнула, что Хью воплощает в себе всю гнусность британского среднего класса. Заявила, что он виноват в бедственном положении «несчастных девушек с Пикадилли» – именно Хью, безупречный джентльмен, бедняга Хью! – в общем, перепугала его ужасно. Сэлли сделала это нарочно, как призналась позже в саду (они с Питером частенько встречались среди грядок и обменивались впечатлениями). «Ведь он ничего не читает, ни о чем не задумывается, ничего не чувствует, – резко чеканила Сэлли, не подзревая, как далеко разносится ее голос. – Любой конюх больше похож на живого человека, чем этот Хью. Типичный продукт элитной частной школы. Подобные экземпляры водятся только в Англии!» Сэлли совсем разошлась – видимо, затаила на него обиду. Произошел какой-то инцидент – Питер Уолш позабыл, какой именно – в курительной комнате. Он оскорбил ее – поцеловал, что ли? Невозможно! Разумеется, никто не поверил. Целовать Сэлли в курительной комнате?! Будь на ее месте дочь пэра или сэра – пожалуйста, но оборванка Сэлли без гроша за душой, да еще то ли отец, то ли мать у нее – завсегдатай казино в Монте-Карло. Такого отчаянного сноба, как Хью, Питер Уолш пока не встречал. Откровенно не лебезил, конечно, поскольку слишком самодоволен. Скорее эдакий первоклассный камердинер – чемоданы поднести, телеграмму отправить – словом, в хозяйстве незаменим. И он нашел себе теплое местечко – женился на титулованной особе, получил должность при дворе – присматривает за королевскими погребями, полирует пряжки на августейших башмаках, расхаживает в бриджах до колен и кружевном жабо. Как безжалостна судьба! Вот вам и местечко при дворе.

Хью женился на своей титулованной Эвелин, живет где-то неподалеку в помпезном доме с видом на парк, думал Питер Уолш, которому однажды довелось у них отобедать – в доме, где есть то, чего нет больше ни у кого! – чуланы для белья, к примеру. Пришлось пойти, взглянуть на дом, восторгаться и чуланами для белья, и старой дубовой мебелью, и картинами, купленными по дешевке. Впрочем, миссис Хью порой может сболтнуть лишнего. Она из тех невзрачных мышек, что восхищаются рослыми мужчинами. Вроде ничего собой не представляет, а потом как выдаст что-нибудь эдакое – резкое, колкое. Вероятно, остатки аристократических манер сказываются. Пагубное воздействие паровичного³ угля на хрупкий организм налицо – атмосфера в доме слишком плотная. Так и живут среди своих бельевых чуланов, картин старых мастеров и наволочек с настоящими кружевами, живут на ежегодную ренту в пять или десять тысяч фунтов, в то время как он, двумя годами старше Хью, вынужден кланяться у них работу.

В свои пятьдесят три придется просить их похлопотать, чтобы приткнули его куда-нибудь клерком, или помощником учителя младших классов, или на побегушки к какому-нибудь чинуше – все равно куда, сотен на пять в год, ведь им с Дэйзи одной пенсии точно не хватит. Скорее всего, с устройством поможет хоть Уитбрэд, хоть Дэллоуэй. Просить Дэллоуэя не зазорно. Человек он хороший, пусть недалекий и умом не блещет. И все-то делает с толком, без малейшей фантазии, без всяких прикрас, с типичной для него любезностью. Из него вышел бы отличный сельский сквайр – зря подался в политику, зря. Лучше всего он смотрится на свежем воздухе, с лошадьми и собаками – к примеру, как мастерски он справился, когда огромный лохматый пес Клариссы угодил в капкан и едва не лишился лапы, а Кларисса чуть не упала в обморок, и Дэллоуэй все сделал сам: перевязал, наложил шину и велел Клариссе не глупить. Пожалуй, тем и понравился – именно такой ей и нужен. «Ну же, милая, не глупи. Подержи это, подай то», и с собакой разговаривал как с человеком.

Но как она могла проглотить несусветную чушь насчет поэзии? Как позволила ему разглагольствовать о Шекспире? На полном серьезе Ричард Дэллоуэй встал в позу и заявил, что ни один порядочный человек не станет читать сонеты Шекспира, ибо это все равно что подглядывать в замочную скважину (не говоря уже о том, что подобных отношений он также

³ Паровичный – употребляемый для сжигания в паровозных топках.

не одобряет). Ни один порядочный человек не позволит жене посещать сестру своей покойной жены. Немыслимо! Клариссе следовало закидать его жареным миндалем – дело было за обедом. Кларисса проглотила все молча, сочла его искренним, независимым во взглядах... Господи, да она наверняка решила, что Дэллоуэй – самый большой оригинал из всех, кого ей довелось повстречать!

Кстати, Сэлли придерживалась того же мнения. Они часто гуляли по обнесенному стеной саду – повсюду кусты роз и огромные кочаны цветной капусты, – и однажды Сэлли замерла в восхищении перед красотой капустных листьев в лунном свете (удивительно, до чего ярко вдруг вспомнилось все, о чем он много лет даже не думал), сорвала розу и со смехом умоляла его похитить Клариссу, спасти от Хью, Дэллоуэев и прочих «образцовых джентльменов», которые «загубят ее душу» (в те дни Сэлли строчила стихи без перерыва), низведут до обычной хозяйки салона, поощряя в ней суетность. Впрочем, следует отдать Клариссе должное: она прекрасно знала, чего хочет, и за Хью бы не вышла. Чувств своих она не скрывала, но в людях разбиралась хорошо – пожалуй, гораздо лучше Сэлли, при этом ей была присуща истинная женственность, необыкновенный дар изменять мир под себя везде, где бы ни появлялась. Кларисса входила в комнату или стояла в дверях в окружении людей, но почему-то запоминалась именно она. Вроде ничего выдающегося – вовсе не красавица, ничуть не эффектная, особо умного тоже не скажет, и все же Кларисса умела запасть в душу...

Нет-нет-нет! Он больше не влюблен! Просто, увидев утром Клариссу с ножницами и шелками, увидев, как она готовится к приему, Питер Уолш не мог избавиться от мыслей о ней, как нельзя избавиться в подземке от уснувшего соседа, что постоянно приваливается к чужому плечу. Разумеется, это не влюбленность; он думал о ней, критиковал, вновь пытался ее понять после тридцати лет знакомства. Проще всего считать Клариссу суетной, озабоченной чинами, регалиями и успехами в обществе – и отчасти это правда, которую она признает. (Вызвать ее на откровенность можно всегда, было бы желание, Кларисса честна.) Сама она скажет, что не терпит нерях, чудаков и, вероятно, неудачников вроде него; считает, что люди не имеют права сутулиться, совать руки в карманы, должны чем-то заниматься, кем-то становиться, и выдающиеся персоны в ее гостиной – всякие герцогини, убеленные сединами графини – невыразимо далеки от всего, что имеет для Клариссы значение, от всего, что для нее действительно важно. Вот леди Бексборо держится прямо (сама Кларисса тоже не позволяет себе расслабиться, вечно как натянутая струна). Таким людям присуща твердость духа, и с годами Кларисса стала уважать ее все больше. Конечно, тут изрядно сказалось влияние Дэллоуэя и того патристического, имперского духа правящей элиты, который он привнес в ее жизнь. Вдвое умнее мужа и на все смотрит его глазами – чем не семейная трагедия? С ее-то умом постоянно ссылаться на Ричарда – будто сложно догадаться, о чем он подумает, читая утреннюю газету! Взять, к примеру, эти приемы – ведь она устраивает их только ради него или для поддержания созданного ею же образа Дэллоуэя (справедливости ради, в Норфолке Ричарду жилось бы гораздо счастливее). Кларисса превратила свою гостиную в место полезных знакомств – у нее к этому талант. Питер Уолш не раз наблюдал, как она возьмет какого-нибудь юнца, повертит так и эдак, пообтешет слегка, заведет и пустит в дело. Конечно, вокруг нее полно скучных личностей, но иногда появляются и преоригинальные – то художник, то писатель, типы странные в подобной обстановке. Закулисная же сторона дела требует наносить визиты, оставлять карточки, проявлять любезность, бегать с букетами, делать подарочки – к примеру, такой-то едет во Францию, нужно поскорее раздобыть для него надувную подушку в дорогу – словом, отнимает у женщин ее статуса кучу сил, хотя Кларисса занимается этим совершенно искренне, в силу врожденной склонности.

Как ни странно, Кларисса – один из самых закоренелых скептиков на его веку и, вероятно (такую гипотезу Питер Уолш выдвинул, чтобы объяснить ее незатейливость в иных аспектах и непостижимость в других), вероятно, говорит себе: «Если наша раса обречена, прикована

к тонущей галере» (в детстве она зачитывалась Томасом Гексли и Джоном Тиндалем, оба любители морских метафор), если жизнь сыграла с нами скверную шутку, то давайте внесем свой вклад, облегчим страдания братьев-каторжников (снова Гексли), украсим темницу цветами и надувными подушками, будем держаться достойно, насколько это возможно. Пусть гнусные боги, никогда не упускающие шанса навредить людям и испортить им жизнь, не радуются: я все равно останусь истинной леди». Так на ней отозвалась смерть Сильвии – ужасная трагедия! Как говорила сама Кларисса, поневоле ожесточисься, если родная сестра, только ступившая на порог жизни, самая одаренная из них всех, гибнет под упавшим деревом (по вине Джастина Пэрри – из-за его нерадивости) прямо у тебя на глазах. Позже она, вероятно, утратила былую веру в богов и никого уже не винила, поэтому нашла утешение в этой религии для атеистов – творить добро ради добра.

И, разумеется, она безмерно радовалась жизни. Такова ее натура (хотя, видит Бог, Кларисса многое оставляет для себя одной – после стольких лет Питер Уолш видел скорее лишь эскиз, нежели полную картину ее личности). В любом случае горечи в ней нет, как и чувства морального превосходства, которое так отталкивает в добродетельных женщинах. Клариссу радует буквально все. К примеру, пойдешь с ней прогуляться по Гайд-парку, так она восхищается то клумбой с тюльпанами, то младенцем в коляске, то выдумает на ходу какую-нибудь забавную сценку. (Скорее всего, при виде этой несчастной парочки непременно заговорила бы с ними и принялась утешать.) Ей присущ потрясающий комизм, но без зрителей он не проявляется – ей нужны люди, и в результате Кларисса тратит свое время на обеды, ужины, бесчисленные приемы, болтает о всякой чепухе, говорит то, чего не думает, теряя остроту ума и объективность. Сидит во главе стола, выслушивает какого-нибудь старого хрыча, который может пригодиться Дэллоуэю – они знакомы с самыми страшными занудами Европы, – или входит Элизабет, и Кларисса тут же кидается ей угождать. В последний визит он застал ее в старших классах школы – ничем не примечательная, бледная девочка с широко распахнутыми глазами, ничуть не похожая на мать. Молчаливое, флегматичное создание равнодушно взирало, как мать вокруг нее прыгает, потом спросило: «Ну, я пойду?» Словно ей четыре года! Идет играть в хоккей, объяснила Кларисса с той же смесью радостного изумления и гордости, какое вызывал у нее муж. Теперь Элизабет, вероятно, повзрослела, считает Питера ретроградом, смеется над друзьями матери. Ну и ладно. Преимущество старения, думал Питер Уолш, выходя из Риджентс-парка со шляпой в руке, довольно простое: страсти бушуют, как и прежде, зато наконец обретаешь силу, которая добавляет существованию неподобный шарм, – силу овладевать жизненным опытом, неторопливо рассматривать его на свету.

Признаваться в таком ужасно (он снова надел шляпу), но в пятьдесят три едва ли нуждаешься в людях. Хватает самой жизни, каждого мига здесь и сейчас, на солнышке, в Риджентс-парке. Этого более чем достаточно. Жизнь слишком коротка, чтобы прочувствовать в полной мере, извлечь до капли все удовольствие, все оттенки смысла – и то и другое на практике гораздо весомей наших представлений о них и вовсе не ограничено личными предпочтениями. Никто больше не заставит его страдать так, как в свое время Кларисса. Про Дэйзи он не вспоминает часами (слава Богу, та его не слышит!), часами и даже целыми днями.

Возвращаясь в те несчастные дни, полные мучений и страсти, Питер Уолш задавался вопросом: действительно ли влюблен в Дэйзи? Хотя теперь совсем другое дело, ведь гораздо приятнее, если влюблены в тебя. Вероятно, поэтому он испытал огромное облегчение, когда пароход наконец отчалил – больше всего ему хотелось побыть одному, и его изрядно злили маленькие знаки ее внимания по всей каюте – сигары, записки, плед. Любой, будь он честен, скажет то же самое. После пятидесяти люди не нужны, и постоянно твердить женщинам, что они прелестны, уже не хочется. Многие мужчины слегка за пятьдесят подтвердят, подумал Питер Уолш, если они честны.

Тогда к чему эти всплески чувств – почему он разрыдался сегодня утром? Что подумала о нем Кларисса? Вероятно, сочла дураком, и не впервые. В основе всего лежит ревность – самая живучая из всех страстей человеческих, понял Питер Уолш, держа карманный нож в вытянутой руке. В последнем письме Дэйзи написала, что встречалась с майором Ордом, специально написала, чтобы заставить его ревновать; он представил, как она морщит лоб, выдумывая, как бы уколоть его побольнее, и все же понимание не меняет ничего – он в ярости! Возню с приездом в Англию и с адвокатами он устроил вовсе не для того, чтобы на ней жениться, главное – помешать ей выйти замуж за кого-нибудь другого! Именно это его и мучило, нахлынуло разом при виде спокойствия Клариссы, ее холодности, ее увлеченности починкой платья или что там она латала; могла бы пощадить его чувства, не доводить – распустил нюни, старая развалина! Впрочем, подумал Питер Уолш, закрывая нож, откуда женщинам знать, что такое страсть? Они понятия не имеют, что она значит для мужчин. Кларисса холодна как сосулька. Сидела на диване рядом, позволила взять себя за руку, поцеловала в щеку... А вот и переход.

Его размышления прервал слабый, дрожащий звук – голос доносился непонятно откуда, едва слышно и в то же время пронзительно, без начала и без конца, без какого-либо внятного смысла:

*миу... кра... ши... аай...
ле... ющ... рас... аай...*

голос без возраста и пола, голос древнего источника, бьющего из земли, – голос лился со станции прямо напротив Риджентс-парка, исходя от высокой покачивающейся сущности – то ли дымовой трубы, то ли ржавой водяной колонки, то ли навеки безлистного дерева, чьи ветви треплет буря, и оно поет:

*миу... кра... ши... аай...
ле... ющ... рас... аай...*

и раскачивается, и скрипит, и стонет на вековечном ветру.

С незапамятных времен, когда тротуар был лугом, болотом, в эпоху бивней и мамонтов, в эпоху безмолвных рассветов, потрепанная женщина – судя по юбке – протягивала руку и пела о любви – любви, что длится миллион лет, о любви, что побеждает все; миллионы лет назад возлюбленный, который мертв уже столько веков, гулял с ней в мае, выводила она, но минули века, долгие, как летние дни, пылающие, как красные астры, и его не стало, огромный серп смерти разметал могучие горы. Настанет день, и она наконец преклонит седую и безмерно постаревшую голову на землю, покрытую ледяным пеплом, и попросит богов, чтобы положили рядом с ней пучок багряного вереска – на высокий холм, который согреют последние лучи последнего солнца, и вселенскому празднику наступит конец.

Пока древняя песнь взмывала ввысь возле станции «Риджентс-парк», земля казалась зеленой и цветущей, хотя мелодия лилась из рта столь грубого – просто грязной ямы, забитой волокнами корней и спутанными травами, и все же старая, бурлящая, булькающая песня просачивалась сквозь узловатые корни бесконечных веков, некогда зарытые кости и клады растеклись по мостовой, струились по Мэрилебон-роуд и дальше к Юстону, удобряя землю, оставляя влажный след.

Вспоминая незапамятный май, эта ржавая развалина, эта оборванная старуха с протянутой рукой, однажды бродившая там, где теперь шумит море, с кем – уже не важно, наверное, с мужчиной, конечно, с мужчиной, который ее любил, – простоит здесь и десять миллионов лет. Увы, бег веков затуманил краски древнего весеннего дня, яркие лепестки поблекли и покрылись инеем, и она уже не видела, умоляя его, вот как сейчас, подарить ей ласковый

взгляд – она больше не видела ни ласкового взгляда карих глаз, ни черных усов, ни загорелого лица, лишь неясные очертания какой-то тени, к которой и зывала теперь бодрым старческим щебетом: «Дай мне руку и позволь нежно ее пожать» (Питер Уолш не удержался и сунул бедняге монету, садясь в такси), «А если кто и увидит, то что мне до них?» вопрошала она; и сжимала кулак, и улыбалась, убирая в карман шиллинг, и все пытливые взгляды, казалось, погасли и поколение за поколением – тротуар заполонила суетливая толпа людей среднего класса – исчезало, как опавшая листва, что мокнет под ногами, преет и разлагается, становясь перегноем для вечной весны...

миу... кра... ии... аай...

ле... ющ... рас... аай...

– Бедная старуха, – сказала Реция Уоррен Смит, стоя на переходе.

Надо же, как не повезло в жизни! Вдруг ночью пойдет дождь? Вдруг мимо пройдет отец или тот, кто знал ее в лучшие времена, и увидит, как она опустилась? Где же она ночует?

Радостно, почти весело неукротимый поток звука вплетался в лондонский воздух, словно дым из трубы сельского домика, обвивая чистые буки и выпуская сизое облачко среди самых верхних листьев. «А если кто и увидит, то что мне до них?»

Реция уже так долго чувствовала себя несчастной, что начала придавать значение всему происходящему вокруг и порой готова была бросаться к прохожим, если те выглядели хорошими, добрыми, просто чтобы сказать: «Я несчастна», и эта старуха, распеваящая у станции «А если кто и увидит, то что мне до них?», внезапно внушила ей надежду, что все наладится. Они идут к сэру Уильяму Брэдшоу – какое приятное имя, он наверняка сразу вылечит Септимуса. А потом появилась повозка пивовара, и серые лошади с вплетенными в хвосты пучками соломы, и газетные плакаты! Это просто дурацкий сон, вовсе она не несчастна!

Итак, мистер и миссис Септимус Уоррен Смит перешли через улицу, и разве что-нибудь в них привлекало внимание или заставило бы прохожего заподозрить, что этот молодой человек несет миру главную весть, что он счастливее и в то же время несчастнее всех на свете? Вероятно, они двигались медленнее других, и в шаркающей походке молодого человека проскальзывало сомнение, однако это вполне естественно для конторского служащего, который годами не видел Ист-Энда в будни в такой час. Он глядит на небо и озирается по сторонам, словно широкая Портленд-плейс – квартира, кудаходишь в отсутствие хозяев: люстры завернуты в полотняные чехлы, смотрительница поднимает уголок шторы, роняя длинные полосы пыльного света на причудливые кресла, и объясняет посетителям, какое это замечательное жилище; замечательное, кивает он, разглядывая кресла и столы, и странное.

Судя по виду, он служит в какой-нибудь конторе, причем довольно престижной: ботинки дорогие, руки выдают человека культурного, как и профиль – угловатый, с крупным носом, умный, учтивый, но вот губы безвольно опущены, и глаза (как бывает часто) – просто глаза, карие, большие; так что в целом это случай пограничный: либо обзаведется домиком в Перли и автомобилем, либо так и будет всю жизнь снимать жилье на задворках; один из тех недоучек или самоучек, что нахватались знаний, листая на досуге книги по рекомендации популярных писателей, с которыми советуются по почте.

Иной опыт, обретаемый в одиночестве в спальне, в конторе, в прогулках на природе и по Лондону, у него есть; покинув дом почти мальчишкой, потому что мать постоянно лгала, потому что он пятидесятый раз кряду явился к чаю с немытыми руками, потому что будущего для поэта в Страуде нет, он уехал в Лондон, посвятив в свои планы лишь младшую сестру и оставив нелепую записку, подобную тем, что пишут все великие люди, а мир читает позже, когда история их борьбы становится всеобщим достоянием.

Лондон проглотил миллионы молодых Смитов, ему плевать на экзотические христианские имена вроде Септимуса, коими родители пытаются выделить своих чад из толпы. Проживая на Юстон-роуд, они получают жизненный опыт, который превращает их невинные румяные мордашки в худые, сдержанные, ожесточенные морды. Что сказал бы на эти перемены наблюдательный друг? То же самое, что и садовник, открыв поутру дверь теплицы и обнаружив новый цветок: надо же, расцвел! Расцвел из тщеславия, честолюбия, преданности идеалам, страсти, одиночества, мужества, лени – обычных семян, которые смешались в комнате на Юстон-роуд, заставили его стыдиться, запинаться, стремиться к совершенству, влюбиться в мисс Изабел Поул, читающую лекции о Шекспире на Ватерлоо-роуд.

Вылитый Ките! – воскликнула она и задумалась: как бы привить ему вкус к «Антонию и Клеопатре» и всему остальному; она одалживала ему книги, писала записочки и зажгла огонь, что вспыхивает лишь раз в жизни, – без тепла, мерцающее красным золотом пламя неземной и иллюзорной страсти к мисс Поул, «Антонию и Клеопатре» и Ватерлоо-роуд. Он считал ее красивой, безупречно прозорливой, писал ей стихи, которые она правила красными чернилами, отбрасывая содержание; однажды летним вечером встретил ее в зеленом платье, гуляющей по площади. Надо же, расцвел, сказал бы садовник, открыв дверь, войдя в комнату ночью и застав его за сочинительством, увидев, как перед рассветом он рвет бумагу в клочья и заканчивает шедевр, как мерит шагами улицы и заходит в церкви, то пирует, то постится, запоем читая Шекспира, Дарвина, «Историю цивилизации» и Бернарда Шоу.

Мистер Брюер знал: что-то происходит. Мистер Брюер, управляющий у Сибли и Эрроусмитов – аукционеров, оценщиков, агентов по продаже земли и домов, – относился к своим молодым подчиненным по-отечески, очень высоко ценил способности Смита и предсказывал, что лет через десять-пятнадцать тот унаследует кожаное кресло в кабинете под крышей и сейф для особо важных документов. Если сбережет здоровье, добавлял мистер Брюер, ведь в tomto и заключалась опасность: Смит выглядел хилым, и он советовал ему заняться футболом, приглашал к себе на ужин и собирался похлопотать о прибавке жалованья, когда случилось событие, перечеркнувшее многие расчеты мистера Брюера, лишившее его самых способных молодых людей и, наконец, поскольку от цепких лап Первой мировой особо не уйдешь, разбившее гипсовую копию Цереры, наделавшее ям в клумбах с геранью и совершенно расстроившее нервы кухарки в обиталище мистера Брюера на Масвелл-Хилл.

Септимус ушел на фронт добровольцем одним из первых. Он отправился во Францию спасать Англию, в основном состоявшую для него из пьес Шекспира и мисс Изабел Поул в зеленом платье, гуляющей по площади. В окопах перемены, которых желал мистер Брюер, советуя ему заняться футболом, совершились мгновенно: хлипкий юноша возмужал, получил повышение, привлек внимание и даже расположение начальства, своего командира по имени Эванс. Их дружба напоминала игру двух псов на коврикe перед камином: молодой терзает бумажный кулек, рычит, огрызается, прихватывает ухо старого приятеля, а тот дремлет, шурясь на огонь, поднимает лапу, переворачивается на другой бок и добродушно ворчит. Им хотелось постоянно быть вместе, всем делиться, попеременно ссориться и мириться. Но когда Эванс (Реция видела его лишь однажды и сочла спокойным парнем – плотный, рыжеволосый, с женщинами сдержанный), когда Эванс погиб в Италии незадолго до перемирия, Септимус был далек от проявления эмоций или осознания, что дружбе наступил конец, и поздравил себя с завидной выдержкой. Война научила. Он приобрел исключительный опыт, прошел через многое – дружба, война, смерть, повышение – еще до тридцати и выжил. Он был близко к передовой, но последние снаряды в него не попали. Он равнодушно смотрел, как те взрываются. Заключение мира Септимус встретил в Милане, в доме хозяина гостиницы – внутренний дворик, клумбы, столики под открытым небом, дочери хозяина мастерят шляпки – и однажды вечером сделал предложение младшей, Лукреции, вдруг в панике обнаружив, что не чувствует ровным счетом ничего.

Теперь, когда все закончилось, перемирие подписали и мертвых предали земле, Септимуса стали одолевать внезапные приступы страха, особенно по вечерам. Он ничего не чувствовал. Открывая дверь комнаты, где юные итальянки мастерили шляпки, он наблюдал, как обтачивают проволоку, нанизывают на нее цветные бусинки из многочисленных блюдец, вертят так и эдак шляпные заготовки, и вся рабочая поверхность усыпана перьями, блестками, шелками, лентами; ножницы стучат по столу, девушки смеются – но все тщетно, он ничего не чувствовал. Впрочем, стук ножниц и женский смех давали ему ощущение безопасности, давали ему убежище. Увы, не мог же он сидеть с ними всю ночь! Рано утром Септимус внезапно проснулся. Кровать падала в бездну, он падал... О, эти ножницы, свет лампы и раскройка шляп! Он сделал предложение Лукреции, младшей из двух сестер, веселой, легкомысленной искуснице, которая растопыривала тонкие пальчики и говорила: «Все дело в них!» В ее руках оживал шелк, перья – да все, что угодно.

– Самое главное – шляпка, – твердила она, выходя прогуляться. Лукреция разглядывала каждую, которая им попадалась, и плащ, и платье, и то, как женщина держится. Плохо одетых или разряженных в пух и прах она порицала – не сурово, лишь делала нетерпеливый жест, как художник отмахивается от банальной, явной подделки, а потом щедро и неизменно критично встречала продавщицу, удачно повязавшую шарфик, или восторженно, со знанием дела превозносила француженку, выходящую из экипажа в шиншилловых мехах и жемчугах.

– Красота! – восхищенно бормотала она, подталкивая локтем Септимуса, чтобы он тоже взглянул. Но красота оставалась за стеклом. Даже вкус (Реция любила мороженое, шоколад, сладости) не приносил ему удовольствия. Сидя за мраморным столиком, он отставлял чашку, смотрел на людей; они казались счастливыми, собирались посреди улицы, кричали, смеялись, спорили по пустякам. Однако Септимус не чувствовал ни вкуса, ни радости. В кафе среди посетителей и болтающих официантов его охватывал жуткий страх – он ничего не чувствует! Он мог мыслить, мог читать, к примеру, Данте, совершенно свободно («Септимус, убери книгу», – просила Реция, заботливо закрывая «Ад»), мог проверить счет – мозг работал идеально; значит, в том, что он ничего не чувствует, виноват мир.

– Англичане такие немногословные, – говорила Реция. Ей это даже нравилось. Она уважала англичан и хотела увидеть Лондон, английских лошадей, сшитые у портных костюмы, и вспоминала рассказы о чудесных магазинах, слышанные от замужней тетушки, жившей в Сохо.

Вполне возможно, думал Септимус, глядя на Англию из окна поезда, когда они выезжали из Нью-Хейвена, вполне возможно, что мир лишен всякого смысла.

В конторе ему дали весьма важную должность. Им гордились, ведь у него награды. «Вы исполнили свой долг, и теперь мы...» – начал мистер Брюер и от избытка чувств не смог договорить.

Они с Рецией сняли прекрасную квартиру на Тоттенхэм-Корт-роуд. Здесь он снова прочел Шекспира – «Антоний и Клеопатра». Юношеское увлечение, неистовая одержимость красотой языка совершенно сошла на нет. До чего Шекспир ненавидел род людской – наряжаются, заводят детей, оскверняют уста и брюхо! Септимусу открылось послание, спрятанное за красотой слов. Тайный сигнал, который предки передают потомкам, – отвращение, ненависть, отчаяние. Данте такой же. И Эсхил (в переводах). Лукреция сидела за столом и украшала шляпки – для миссис Филмер, для ее подруг, занималась этим часами. Бледная и загадочная, словно лилия под водой, думал Септимус.

– Англичане такие серьезные, – говорила она, обнимая Септимуса и прижимаясь щекой к его щеке.

Любовь между мужчиной и женщиной вызывала у Шекспира отвращение. В конце жизни он стал считать совокупление блудом. Но Реция сказала, что хочет детей, ведь они женаты уже пять лет.

Они сходили в Тауэр, побывали в музее Виктории и Альберта, постояли в толпе, чтобы посмотреть, как король открывает парламент. И конечно, по магазинам – шляпы, платья, кожаные сумочки в витринах, у которых Реция застывала. Ей нужен сын.

Она сказала, что должна родить сына, похожего на Септимуса. Нет, никто не будет на него похож – такой ласковый, такой серьезный, такой умный. Можно ей тоже почитать Шекспира, спросила она. Это очень трудный автор?

В такой мир нельзя приводить детей! Нельзя усугублять страдания или увеличивать поголовье похотливых тварей, у которых нет постоянных чувств, лишь порывы и страсти, несущие их без руля и без ветрил.

Септимус наблюдал, как жена кромсает ножницами ткань и кроит, как следят за птичкой в траве, не смея и пальцем пошевелить. Правда в том (только бы Реция не узнала!), что человека заботят лишь сиюминутные удовольствия, ему несвойственны ни доброта, ни преданность, ни сострадание. Люди охотятся стаями, рыщут по пустыне, с воплями исчезают в дикой глуши. Они бросают своих павших. Они корчат гримасы. Взять Брюера в конторе: усы напмажены, булавка с кораллом, белый галстук и сам такой любезный, а внутри – холодный и липкий, думает только о погибшей из-за войны герани и расстроенных нервах поварики; или Амелия как-ее-там, что разносит чай ровно в пять, – хитрая, ехидная, грязная ведьма, и всякие Томми с Берти в крахмальных сорочках, сочащихся липким пороком. Им никогда не узнать, что он рисует в блокноте, как они резвятся голые. На улице мимо с воем проносились грузовики, жестокость редела со всех газетных плакатов – шахтеров завалило, женщины сгорели заживо, а однажды на Тоттенхэм-Корт-роуд целую вереницу психов вывели то ли на прогулку, то ли повеселить лондонцев (смеялись те громко), и они прошагали мимо с виноватым торжеством, кивая и ухмыляясь, усугубляя его и без того нестерпимые страдания. С ума сойдешь!..

За чаем Реция рассказала, что дочка миссис Филмер ждет ребенка. Она не хочет остаться бездетной! Ей так одиноко, она так несчастна! Реция плакала впервые с тех пор, как они поженились. Рыдания доносились словно издалека – Септимус прекрасно все слышал, различал слова, сравнивал их со стуком поршня в двигателе и не чувствовал ничего.

Жена плакала, а он ничего не чувствовал, и с каждым глубоким, безнадежным, молчаливым всхлипом проваливался все глубже в преисподнюю.

Наконец, с театральным жестом, который получился у него машинально и весьма фальшиво, Септимус опустил голову на руки. Он сдался – без чужой помощи ему не справиться. Надо к кому-нибудь обратиться. Он признал свое поражение.

Реция отвела его в постель и по совету миссис Филмер послала за доктором Холмсом. Доктор осмотрел Септимуса и заявил, что с ним все в порядке. Ах, какое облегчение! Какой он добрый, хороший человек, подумала Реция. Когда лично он чувствует себя подобным образом, то отправляется в мюзик-холл, сказал доктор Холмс. Или берет выходной и играет с женой в гольф. Почему бы не принять перед сном пару таблеток бромиды, растворенных в стакане воды? В этих старых домах в Блумсбери, заметил доктор Холмс, постучав по стене, часто бывают прекрасные деревянные панели, которые домовладельцы по глупости заклеивают обоями. Буквально вчера, навещая пациента, сэра такого-то, на Бредфорд-сквер...

Значит, нет никаких оправданий, никаких причин, кроме греха, за который человеческая природа приговорила его к смерти: он не чувствует ничего. Самое худшее, что Септимусу было плевать на смерть Эванса, но все прочие преступления поднимали голову, грозили пальцем, издевались над ним и глумились поутру над распростертым телом, вполне осознававшим свое падение и позор: он женился, не любя, обманом увез ее в Англию, оскорбил мисс Изабел Поул... Он настолько отмечен печатью порока, что женщины на улицах от него шарахаются. Подобных негодяев человеческая природа осуждает на смерть.

Доктор Холмс пришел снова. Упитанный, цветущий, пощелкал каблуками, посмотрелся в зеркало и отмел все разом – головные боли, бессонницу, страхи, кошмары – нервные симп-

томы и ничего больше, заявил он. Если доктор Холмс весит хотя бы на полфунта менее одиннадцати стоунов и шести фунтов, то на завтрак просит у жены добавки каши. (Реции следует научиться готовить кашу.) Наше здоровье – в наших руках. Поищите себе какое-нибудь занятие или хобби. Он полистал Шекспира – «Антоний и Клеопатра» – и оттолкнул книгу в сторону. Лучше хобби, повторил доктор Холмс, ведь своим прекрасным здоровьем (а трудится он много, как и любой в Лондоне) он обязан тому, что всегда может переключиться с пациентов на старинную мебель. Кстати, в волосах миссис Уоррен Смит сегодня премилый гребень, если позволите.

Когда этот набитый дурак явился снова, Септимус отказался его видеть. Да неужели? – воскликнул доктор Холмс с любезной улыбкой. Ему пришлось приложить некоторое усилие, чтобы протиснуться мимо очаровательной миссис Смит в спальню ее мужа.

– Итак, вы не в духе, – любезно заметил он, присаживаясь возле пациента. Неужели он говорил о самоубийстве в присутствии своей жены, совсем девочки, к тому же иностранки? Разве это не создаст у нее ложного впечатления об английских мужьях? Разве у него нет долга перед женой? Не лучше ли чем-нибудь заняться вместо того, чтобы лежать в постели? За плечами у доктора Холмса – сорок лет практики, так что Септимус вполне может ему доверять: с ним все в полном порядке. Доктор надеется, что в следующий визит уже застанет Септимуса на ногах и тот больше не станет тревожить свою очаровательную женушку.

В общем, на него открыла охоту сама человеческая природа в лице этого мерзкого хама с красным носом – доктор Холмс являлся каждый день. Стоит оступиться, написал Септимус на обратной стороне почтовой открытки, и человеческая природа откроет на тебя охоту. Холмс не отстанет. Их единственный шанс спастись – уехать, не поставив его в известность, в Италию – куда угодно, лишь бы подальше от доктора Холмса.

Реция с ним не согласилась. Доктор Холмс так добр и внимателен к Септимусу. Сказал, что просто хочет им помочь. У него четверо маленьких детей, и он позвал ее на чай.

Значит, жена меня покинула. Весь мир кричал: убей себя, убей себя ради нас! Почему он должен это делать ради них? Еда вкусная, солнце жаркое, да и как себя убьешь – кухонным ножом, залив все кровью, или надыхаться газа? Он слишком слаб, едва может руку поднять. К тому же, оставшись совсем один, приговоренный и покинутый, как случается со всеми умирающими, Септимус обрел подлинное величие, роскошь свободы, неведомой тем, у кого есть привязанности. Разумеется, Холмс победил, хам с красным носом взял над ним верх. Но даже сам Холмс не сможет прикоснуться к этому последнему отголоску, бродящему по краю света, к изгоя, который оглядывается на обжитые места, который лежит, как утонувший моряк на берегу.

Именно в тот момент (Реция отлучилась в магазин) на Септимуса снизошло великое откровение. Из-за ширмы раздался голос Эванса. Мертвецы его не покинули.

– Эванс, Эванс! – закричал он.

Мистер Смит разговаривает сам с собой, пожаловалась Агнес, девочка-служанка, миссис Филмер на кухне. Все твердил «Эванс, Эванс», когда она вошла с подносом. Да, подскочила и бросилась бежать.

Вернулась Реция с цветами, поставила их в вазу, на которую попали солнечные лучи и со смехом рассыпались по комнате.

Пришлось купить, объяснила Реция, у какого-то бедняка на улице. Розы еле живы, заметила она, расправляя цветы.

Значит, снаружи кто-то стоит – очевидно, Эванс, и розы, которые Реция назвала едва живыми, сорваны в Греции.

– Общение – это здоровье, общение – это счастье, общение... – прошептал он.

– О чем ты, Септимус?! – воскликнула Реция в ужасе, потому что он снова говорил сам с собой.

Она послала Агнес за доктором Холмсом. Муж сошел с ума! Он ее почти не узнает.

– Мерзавец! Мерзавец! – заорал Септимус при виде человеческой природы, то есть доктора Холмса, у себя на пороге.

– И что тут происходит? – осведомился доктор Холмс наилюбезнейшим тоном. – Болтаете всякую чушь и пугаете жену?

Пожалуй, он даст ему снотворного. Будь они богаты, заметил доктор Холмс, скептически оглядывая комнату, им безусловно стоило бы поискать специалиста на Харли-стрит, если уж ему не доверяют, закончил он совсем недобро.

Был полдень, двенадцать ударов Биг-Бена разнеслись по северу Лондона, смешались с боем других часов, тонкой струей влились в облака и клубы дыма и развеялись среди морских чаек – с двенадцатым ударом Кларисса Дэллоуэй положила зеленое платье на кровать, а чета Уоррен Смит вошла на Харли-стрит. Им было назначено на это время. Наверное, подумала Реция, сэр Уильям Брэдшоу живет вон в том доме с большим серым автомобилем у дверей. В воздухе расходились свинцовые круги.

Лукреция не ошиблась, автомобиль действительно принадлежал сэру Брэдшоу – низкий, мощный, серый, с простым вензелем на приборной панели, словно напыщенная геральдика здесь неуместна, ведь владелец был духовным утешителем, жрецом науки. Под стать серому цвету кузова, цвету спокойной учтивости, подобрали и обшивку салона, и серебристые меха, и сложенные грудой пледы, чтобы согревать ее светлость, пока она ждет мужа. Довольно часто сэру Уильяму приходилось проезжать шестьдесят миль и более, навещая страждущих, которые могли себе позволить заплатить крупную сумму, весьма справедливо назначаемую доктором за свои советы. Ее светлость ждала, укрыв ноги пледом, час или больше, откинувшись на спинку и порой думая о пациенте, порой, что вполне простительно, о золотой стене, подымавшейся с каждой минутой все выше и выше; о золотой стене, отделявшей их с мужем от резких перемен и тревог (с коими в свое время она отважно справилась – им обоим пришлось побороться за место под солнцем), пока их не вынесло на океанский простор, где дуют лишь пряные ветры, где царят лишь уважение, восхищение, зависть, и больше желать почти нечего, разве что немного похудеть бы; по четвергам – званые обеды для коллег, иногда приходится открывать благотворительный базар, приветствовать членов королевской семьи; времени с мужем, увы, она проводит все меньше – клиентура все растет и растет; сын успешно учится в Итоне, ей бы еще дочку; впрочем, интересов у нее предостаточно – надзор за детскими приютами, уход за эпилептиками и фотография – стоит ей, сидя в ожидании конца визита, увидеть недостроенную или заброшенную церковь, как она подкупает сторожа, берет ключи и фотографирует, причем снимки получаются настолько хороши, что неотличимы от профессиональных.

Сэр Уильям был уже немолод. Он трудился очень усердно, добился положения благодаря выдающимся способностям (отец его владел небольшим магазином), любил свою профессию, на церемониях смотрелся весьма представительно и прекрасно говорил. К тому моменту как он получил рыцарство, все, вместе взятое, придало ему суровый, усталый взгляд (непрерывный поток пациентов и привилегии профессии обременительны), и эта усталость в сочетании с сединой сообщили его облику необычайную солидность и создали ему репутацию (что при лечении нервных заболеваний чрезвычайно важно) не только высококлассного специалиста и почти непревзойденного диагноста, но и врача чуткого, деликатного, понимающего человеческую душу. Он все понял, едва посетители вошли в приемную (они назвались супругами Уоррен Смит), едва увидел пациента: случай необычайно серьезный. Это был полный душевный надлом – физическое и нервное истощение, причем все симптомы в запущенной стадии, как он убедился уже за пару-тройку минут (записывая ответы на вопросы на розовой карточке).

Как долго ходил к нему доктор Холмс?

Шесть недель.

Прописал немного бромада? Сказал, что все в полном порядке? Ясно. (Ох уж эти семейные терапевты, подумал сэр Уильям. Половина его времени уходила на то, чтобы исправлять их промахи. Иные были непоправимы.)

– Вы достойно исполнили свой долг на войне?

Пациент повторил «на войне» с вопросительной интонацией.

Придает словам символический смысл. Серьезный симптом, запишем на карточке.

– На войне? – переспросил пациент. Европейская война – мелкая стычка школьников с пугачами. Исполнил ли свой воинский долг достойно? Он уже не помнит. На войне он потерпел поражение.

– Да, очень, – заверила Реция. – Его даже представили к званию.

– И в конторе вас тоже высоко ценят? – пробормотал сэр Уильям, покосившись на письмо не скупившегося на похвалы мистера Брюера. – Значит, беспокоиться не о чем – никаких финансовых тревог у вас нет?

Он совершил ужасное преступление и приговорен к смерти самой человеческой природой.

– Я... я... – начал Септимус, – совершил ужасное...

– Ничего плохого он не сделал! – перебила Реция.

Если мистер Смит обождет, сказал сэр Уильям, он поговорит с миссис Смит в соседней комнате. Ее муж болен очень серьезно, сообщил сэр Уильям. Он не грозился покончить с собой?

Да, вскричала она, но ведь это всего лишь слова! Конечно, согласился сэр Уильям, ему просто нужно отдохнуть – как следует отдохнуть, нужен длительный постельный режим. За городом есть уютное место для отдыха, где ее мужу обеспечат прекрасный уход. Вдали от нее? К сожалению, да: когда мы болеем, присутствие людей, которые заботятся о нас больше всех, не приносит пользы. Но ведь он не сошел с ума? Сэр Уильям ответил, что о сумасшествии речь не идет. Он называет это отсутствием чувства меры. Муж не любит докторов, он откажется ехать. Кратко и доступно сэр Уильям объяснил ей положение дел. Раз муж грозился покончить с собой – другого выхода нет. Таков закон. Он будет лежать в постели в красивом загородном доме. Медсестры там превосходные. Сэр Уильям будет навещать его раз в неделю. Если у миссис Уоррен Смит больше вопросов нет – он своих пациентов никогда не торопит, – то им пора вернуться в приемную. Вопросов у нее не возникло – по крайней мере к сэру Уильяму.

И они вернулись к самому достойному человеку на земле, к обвиняемому, представшему перед судьями, к жертве, вознесшейся ввысь, к беглецу, к утонувшему моряку, к сочинителю бессмертной поэмы, к Господу, преступившему смертную черту, – к Септимусу Уоррену Смиуту, который сидел в кресле под стеклянным потолком, разглядывая фотографию леди Брэдшоу в придворном платье и бормоча снизошедшие на него откровения о красоте.

– Мы побеседовали кое о чем, – начал сэр Уильям.

– Доктор говорит, ты очень, очень болен! – вскричала Реция.

– Мы решили поместить вас в лечебницу, – сообщил сэр Уильям.

– К доктору Холмсу? – презрительно усмехнулся Септимус.

Молодой человек производил неприятное впечатление. Сэр Уильям, чей отец был лавочником, испытывал понятный пиетет к манерам и одежде, поэтому убогость его раздражала; кроме того, сэр Уильям не имел времени на чтение книг, поэтому в глубине души таил обиду на прециозных типов, которые приходят к нему на прием и смотрят свысока на докторов, чья профессия сопряжена с постоянной и весьма сложной интеллектуальной нагрузкой.

– Нет, в мою, мистер Уоррен Смит, – проговорил сэр Уильям, – где мы научим вас отдыхать.

Оставалось еще кое-что. Он совершенно уверен: находишь мистер Уоррен Смит в добром здравии, он ни в коем случае не стал бы пугать свою жену и говорить о самоубийстве.

– Все мы порой хандрим, – заметил сэр Уильям.

Стоит упасть, повторял себе Септимус, и человеческая природа возьмет верх. Холмс и Брэдшоу возьмут верх. Они рыщут по пустыне, с воплями исчезают в дикой глуши. Они применяют дыбу и тиски для больших пальцев. Человеческая природа безжалостна.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.